

Ч А С Т Ь

ВОЛЯ



Разрешите представиться: Мастер Ошибки. Титулованный мэтр, непредвиденной встречи. Открыватель орбиты, сошедшей с подмостков. Бакалавр опечаток. Неисправленный гений.

Он серьёзно уверен в несуразном исходе. Спотыкаясь, спотыки считает удачей. Ну, а если, случайно, получает по морде, в этом видит находку // и накопленный опыт.

Он читал с середины и обедал с компота. Уходил, поздравляя, — возвращался в блевоте. И стихи, перепутав, говорил для оглохших, для прибывших, оглушенных жадностью жизни. Просытаясь, искал запропавшее время, долго думал о том, где оставил секунды? И который же час в этом загнанном свете? И куда же свои он поставил ботинки? Сколько в мире вопросов! И так мало ответов. Чёрт с ней, с тенью, отведав, — садись и пиши. Про забытые Богом и поэтом ступени, уводящие в мир неземной красоты. Там... В потресканном вымени древнего камня, на обрывке газеты, с сигаретой «Дымок». Мы сидели и пили обжигающий танго — из китайского термоса трепетный грог. Этот крохотный миг отложился навеки, а поездку в Париж почему-то забыл. Просто кажется, что я вроде и не был в Париже. И в соборе его загранично-божественной матери вроде бы и не звонил. И горбун квазимодный мне не ставил поллитра с урожая отборных анжуйских сортов. И с поэтом Рембо мы как будто бы и не обсуждали соответствия гласным французских цветов. И с Моне я не помню никаких разговоров, но однако, поди ж ты, — осталась стога. Сколько было этих таинственных полувстреч, полусборов. Но не вспомнить о вехах на пути в облака.

Голубые подмостки. Ну, а зрители — Боги. Им не впарить фальшивку театральным смертей. Но и они, как это ни покажется странным, иногда исправляют ошибку, вместо того, чтобы просто посмеяться над ней.

Никогда я не верил в осознанный метод и чужие мгновенья не терял, а ловил. Так и этот подсмотренный автоматический слепок с парой поломанных в поднебесье крыл...

Войдя в оброненную кем-то тетрадь, я открыл.

1. Винительный вираж

Несостоявшийся лётчик. Состоявшийся физик. Нахлебник Судьбы. Начало кривой. Сумасшедший дед. Бытие по модулю минус три. Безумное завещание. Тишина в душе. Заоблачный фильм. Поэт.

Кто он, соотчик товарного поезда? Несостоявшийся лётчик, со Шнитке под сердцем и с чемоданом зелёных страстей. Оставивший девочку и старика. Скрывающийся от ревизоров жизни. Боящийся собственной тени. Заплутавший во времени, пространстве и собственном Я. Кто он?

Где тот случайный поворот, приведший его к этой куче мусора в пустом вагоне, среди бесконечных степей?

Может быть, это был тот экзамен на лётчика. Экзамен, который он завалил. Уже в тот миг его капризное подсознание, должно быть, знало о необходимом количестве ошибок. Ведь если бы тогда он на чуть-чуть сгустил свою внимательность, то и не ехал бы сейчас в товарном поезде, не ведая о причине и направлении, а летел бы среди кучевых облаков, курсом норд-вест, поглаживая попку хорошенькой стюардессы.

А возможно, наоборот, это был экзамен на физика. Экзамен, о котором он узнал из газеты, сидючи в деревянном сортире, и который умудрился сдать, хотя и не знал правил: буравчика, Ома и левой руки.

Ведь не поступи он тогда, и не узнал бы этих великих правил. И не произнёс бы **божественный звук «О-ом»**, прижимая к бутылке левую руку, а правой заворачивая штопор, и не влюбилась бы в него кареглазая школьница, зажегшая в душе его первый стих...

Каждое мгновение — есть точка перегиба, и, следовательно, вторая производная мгновения равна нулю, а, значит, линия, по которой он движется, — прямая. Математика, бя.

Нет и не было в жизни его ошибок. Благодаря всем ошибкам, он стал тем, чем и есть. Ошибки так же, как и попадания, осуществили его. Кому-то ведь нужно было совершить все эти глупости?

Если не он, то кто же?

Конечно, дело не только в случайностях, но и в отношении к ним. Мало ли кому преподносятся конфетки Судьбы. Далеко не каждый отважится съесть. А он хватал, не разбираясь в начинке, считая, что выплюнуть-то всегда можно... а потом оказывалось, что хотя и не очень-то вкусно, но и выплёвывать уже неудобно, поскольку твой плевок будет оскорбителен... Так и жил у Судьбы нахлебником, пускай трудолюбивым, но всё же нахлебником.

Откуда же вышла его Основная кривая? И почему на ней столько загибов? Может быть, это началось ещё до него? Может быть, это его ненормальный дед прогневил или возрадовал Небо? Может быть, и дед. Уж кто-кто, а он мог и прогневить, и возрадовать.

Стилистика воспоминаний его плавно менялась, поднимаясь вверх на несколько пунктов, попадая под влияние деда.

Это был странный человек. Постигший, видимо, что-то удивительно светлое, и за этим светом так и проживший свою счастливую жизнь. Да он как-бы и не жил с ними никогда, но только парил где-то среди облаков. Звал без призыва. Учил, не давая уроков. Был, не будучи настоящим... Человек, который посмеялся над временем и над числом, над государством и над законом, над любовью и над свободой. Человек, который жил в своей небольшой квартирке под коньком неказистого дома. И даже не дома, а памятника архитектуры. И не квартирке, но скорее — гнезде. Уютном многоугольном жилище. Жилище сумасшедшего мудреца.

Он получал пенсию по инвалидности. Не помнил детей своих и выдумывал время. У него было девять суток в неделе, а в году десять месяцев, пять сезонов, сорок недель и пять исчезающих дней. Пять дней, никуда не входящих. Пять некалендарных, мистических дней. Пропущенных, потерянных, позабытых.

Дед... Дед, придумавший два новых дня: «Вознесение» и «Забывание». Два дня, перечеркивающих прожитую неделю. Два дополнительных дня...

Арифметика бессильна здесь: два добавлено, пять пропущено, и если год тождествен неделе, то баланс равняется минус трём. И вот эти-то минус три и есть зеркальное отображение бытия... Есть люди, живущие в отрицательном балансе бытия. Обитатели группы ненормальных событий по модулю минус три.

Дед... Бредивший наяву и проповедующий в бреду. Ломающий дубовые рамки дубового мира. Улыбавшийся птицам и поющий для звёзд. Это он сумел заронить в мою душу первые буквы поэзии. Он сумел прожить среди этого духовного хлама... И сумел исчезнуть...

Уходя, он оставил записку. Ровные чёткие строчки, изящный каллиграфический почерк, разумные округлые фразы. **НО** мысли! Такие мысли под стать сумасшедшему или гению... Великому гению сумасшествия...

«Я ухожу. Мой земной путь пройден. Смысл выскоблен до скорлупы. И обе половинки выеденного яйца — пусты. С некоторой точки на оси времени человек уже не растёт, и тогда

смысл его бытия остаётся лишь в помощи ближним. А когда ближние перерастают его, то остаётся последний и величайший смысл — дозволение им помочь тебе. Таков путь всего человечества. И лишь немногие, те, что понаслышке знают о Свободе, отвергают последнюю треть пути. Мы живём по модулю минус три. И, уходя, я даю тебе первый урок Свободы. Я знаю, тебе будет больно и тяжело. НО это та неизбежная плата за... Впрочем, слепому не объяснить, как пахнут полночные звёзды».

Он помнит эту записку до последнего завитка, но до сих пор не верит в то, что Свобода исключает Любовь. А если и исключает, то стоит ли жертвовать ей ради Свободы?

Записка и ключ от скворечника — вот и всё, что осталось от деда. Записку он хранит в самом сокровенном уголке своей памяти, а ключ носит на шее вместо нательного креста...

Тишина в душе, тишина. Облака отражаются в сердце. И мелодии пьяного сна. Тихо бьются в вагонные дверцы. Среди стружек, на грязном полу. В неизвестном спеша направлении. Он пронзает раскосую мглу. Он пронзает раскосую мглу. Он пронзает раскосую мглу... Продолжая парить в отраженье.

В открытом люке отражалось небо и проносились облака. Облака раскручивались, подобно киноплёнке, и Олег уходил вместе с ними в этот полуфильм его грёз или воспоминаний... Фильм назывался: «Поэт». По заказу заблудшей души. По мотивам его стихотворений.

«В жёлтом пластмассовом кресле. В широкополой шляпе, укрытый клетчатым пледом, мирно спит молодой человек. Солнце. Небо. Чайки. Место действия непонятно. Возможно, Ялта? Гаити? Канарские острова? Камера неспешно удаляется, а пространство соответственно растёт. И вот медленно проявляется перрон Нижегородского вокзала с гвалтом репродукторов и поездов, с привокзальной копотью и грязью, с запахом мочи и машинного масла. У ног спящего толкуются чумазы голуби, глупо потряхивая своими головами. Приближаются два человека в серых шинелях. Солнце сверкает в зелёных осколках битого стекла, в лужице пива, в звёздочках милицейских погон.

Спящего грубо встряхивают. Рассматривают его документы. Что-то объясняют. Расходятся.

Молодой человек с пледом на плече направляется вдаль от вокзала и уstraивается на каких-то поломанных ящиках. Достает из сумки бутылку портвейна. Пьёт. Блаженно щурится на солнце. Камера уходит вверх, раскрывая привокзальный вид с точки зрения неба. В дымке исчезающего города звучат стихи:

***Я просыпался на вокзалах
Среди ментов и голубей...
Писал стихи о древних галлах,
Вкушал свой утренний портвей.***

***И, удаляясь в междуречье
Слоэргетических полей,
Вдруг застывал, пронзённый речью
И словом жалостным: «Налей».***

Камера возвращается к ящикам, портвейну и грязному бомжу, просящему похмельную милостыню. Поэт наливает ему в пластмассовый стаканчик, надевает на седую лохматую голову свою стильную шляпу, укутывает бомжа клетчатым пледом и уходит».

2. Вкус воли

Слёзы неба. Окончание степи. Переспевшая малина. Мокрый сон. Бронзовый молоточек. Куртизанка. Мастерская художника. Соитие у подоконника. Душа и тело поэта. Пробуждение. Оплодотворение зари.

Небо пролилось через экран сознания, и тёплый июльский дождь хлынул сквозь люк на кучу соснового мусора, возвращая реальность, которая соперничала своей поэтичностью с пронесившейся грёзой. Он подставил под дождь пересохшие губы и засмеялся над собой вымученным и в то же время счастливым смехом. На языке оседал вкус дорожной пыли, дождевой воды и пота. Вкус воли.

Поезд затормозил. Эсинский стряхнул с себя промокшую истому, подошёл к двери и опасливо осмотрелся.

Степь кончилась.

Его жизнь вступала в полосу перелесков.

Эсинский взял свои странные капиталы. И спрыгнул. Перешёл вброд придорожную канаву и двинулся перпендикулярно прежнему пути, туда, где по его мнению должно всходить солнце. Он шёл, не разбирая дороги, спотыкаясь о корни и радуясь хлеставшим по лицу веткам. Дождь смывал за ним все следы, и вместе со следами как будто смывалась с души его вся тяжесть прошлой жизни.

Наткнувшись на малиновые заросли, он поставил у муравейника чемодан с деньгами и погрузился в сладкую негу переспевшей малины. И казалось, что в этих тёмно-розовых капельках скрестились нити его детства, далёкие голоса первобытных предков и это дождливое непонятное сегодня... Наевшись до густой оскомины, Эсинский лёг на мокрую, но тёплую землю и провалился в такой же мокрый и тёплый сон. Сон, продолжающий фильм о Поэте:

«Молодой человек поднимается по широкой лестнице старого дома. Подходит к жёлто-песочной двери, на которой тёмно-фиолетовыми готическими буквами написано: «Мастер по акварели и маслу Валентин О.В.», а рядом на декоративном кронштейне висят бронзовый молоточек и две тарелочки. Молодой человек, очарованный этим звонком-инструментом, выстукивает на нём траурный марш Шопена. Дверь открывает полуобнажённая, затянутая в корсет куртизанка XIX века, в шёлковых чулках телесного цвета, в трусиках с кружевами, в белом высоком парике, с приделанными к нему небольшими бутылочками для воды, в которых стоят фиалки и незабудки.

— Простите... — теряет молодой человек.

— Ты к Валенку, что ля? Он за портвеем пошёл, сча вернётся. Да ты проходи, проходи, чо в дверях-то топтаться.

Они проходят в мастерскую художника. У окна стоит обтёрханный диван без спинок, которые валяются в углу. Диван покрыт ярким пурпурным шёлком. Рядом стоит столик из тёмного ореха, на столике сооружён голландский натюрморт с коньяком в графине, полуочищенным лимоном со свисающей, как лента, кожурой, печеньем, веером и прочей симпатичной мелочью. В центре комнаты мольберт. На холсте набросаны контуры завтракающей куртизанки и уже прекрасно, в стиле Фёдора Толстого, выписаны незабудки, приделанные к парикю. На полу валяются какие-то тряпки, выдавленные тюбики из-под красок, пустые бутылки, консервные банки с окурками и прочий мусор, и над всем этим царит донельзя обворожительная куртизанка, курящая тонкую сигарету. Молодой человек старается ускользнуть от её взгляда, поскольку ширинка на джинсах неприлично топорщится, и как ни старается он сбросить возбуждение, оно, напротив, возрастает ещё больше.

Куртизанка неожиданно подходит к нему и, ласково потискивая ширинку, говорит:

— Только давай по-быстрому, а то сча Валенок вернётся.

— Но...

— Не бойсь, я у подоконника встану и буду смотреть, если он покажется.

С этими словами она сбрасывает свои кружевные трусики и, облокотившись о подоконник, широко раздвигает ноги. Молодой человек, приспустив брюки и несколько смущаясь, пристраивается к ней сзади.

Из окна виден город, состоящий из чердаков и крыши. Кружатся белые голуби, подсвеченные солнцем. Кольшатся незабудки и фиалки, припаркованные к женской голове. Звучит музыка Мариконе. Взгляд поэта уносится в небо. Тело его живёт самостоятельной жизнью, содрогаясь в конвульсиях страсти, а душа... Душа парит среди голубиной стаи и истекает только что рождёнными стихами:

*Я проникал в глубины мира!
Блуждал по женственной душе.
Входил непрошенный в квартиры.
Кружился в танце на ноже.*

*На крышах вместе с голубями
И стоном женщины в окне
Я улетал, взмахнув крылами,
И таял в синей вышине».*

Здесь произошёл обрыв киноплёнки, и Эсинский проснулся. Ещё звучали в воздухе последние строки, и образ страстной куртизанки плавно перетекал в заходящее солнце. Эсинский, пребывая в каком-то влажном возбуждении, расстегнул ширинку и, встав на колени, оплодотворил вечернюю зарю.

Млечные капли животворящей влаги упали к подножию гигантского муравейника, и тысячи нераспустившихся жизнью медленно пропитывали землю... **Зачем же допускать, чтобы божественное стало эмбрионом?** Чтобы после рождения его пеленали в крови и желчи? Уж лучше так! Уж лучше подарить его земле.

3. Возражение волны

Шум крыльев. Полночная пьеса. Сумерки. Запах воды. Стодолларовый костёр. Раки. Воспоминание о подкаменных рыбах. Соль.

Стая кряковых уток перечеркнула солнце полётом. Шум их крыльев перечеркнул тишину. Лес остывал вечерней декорацией. Птицы подавали звонок к полночной пьесе для одного актёра...

Сумерки.

Неуловимое колеблющееся время для перехода из суеты дневного города к тишине лесного вечера. Короткий час для поиска воды и огня. Тепла и прохлады. Места для ветра и для ночлега.

Сумерки...

И Эсинский наткнулся на реку, а, может быть, его вывел запах. (О, этот запах остывающей воды, запах нарождающегося тумана, речного песка и мокрого камня!)

Он разложил костёр, пуская на растопку стодолларовые купюры. Причём делал это не ради жеста, а просто по причине дождя. Глупо умереть от простуды с чемоданом денег на груди. За тепло хотя бы изредка нужно платить.

А если хорошо поискать, то будут и раки. Так что траты на огонь воздадутся нам сторицей в раковых шейках...

Эсинский кипятил их по очереди в консервной банке из-под шпрот...

Вкушал. Вкушал так, как можно вкушать единственное блюдо на земле — раков, сваренных в старой консервной банке. Смотрел на тонкие струи огня, облизывающие низкий жестяной цилиндр, и... вспоминал, как недавно они с Михеичем жарили налимов на берегу Волги.

Это было утро, и они были подшофе. И было вино, но не было закуски. А по берегу бродили пацаны и ловили вилкой налимов, сидящих под камнями. И они купили этих подкаменных рыб, которые извивались в костре, подстраиваясь под танец пламени и создавая **прибрежный натюрморт**. И вкус этой обожжённой, но ещё трепещущей рыбы, был вкусом холодной эстетики города, а сегодня от раков веяло свежим дыханием лесной реки.

Соли не было. Ибо реки состоят из пресной воды. Но волны...

Волна не может быть пресной, потому что она живая.

4. Виртуальный викинг

Стены темноты. Заблуждение в среднем. Город из огня. Строка и страсть. Поглощение натюрморта. Стихотворный миньет. Плач филина.

Костёр обозначил стены темноты. Стены его потерянности. В общем-то, достаточно средней потерянности. Направление движения в космосе вполне известно. Вот он, Геркулес, а вот она, Лира; между ними и есть та точка, к которой летим. Апекс Солнца. Движение в круге костра тоже не составляет особой тайны. Так что блуждает он только в среднем. Среднем круге своего бытия...

И со временем — те же проблемы. По большому счёту понятно, что впереди ожидается **смерть или бессмертие**, но по сути это — одно и то же. Ибо и то и другое — есть окончание жизни. Пребывание в малом снова не вызывает вопросов: я собираю дрова, я смотрю на огонь, я курю последнюю сигарету, я вдыхаю ночь, я слушаю реку, я думаю о... но стоп: в движении сознания нет времени... и нас интересует лишь брэнное тело. Тело, заблудившееся в пространстве между рождением и смертью. И путь его постигнуть невозможно. Невозможно представить себе старика, который вырастет из младенца. Тем более если младенец — твой сын. Тайна времени...

А может быть, и нету этой середины? Может быть, младенец и старик — это одно и то же? **Если уж в Истории народов могло исчезнуть целое тысячелетие Средних веков**, то что говорить об одной человеческой жизни?

Мы слишком доверчивы и слишком уверены в непогрешимости памяти. Но где гарантия, что вся предшествующая жизнь не придумана шаловливым мозгом за секунду до воспоминанья?

Он смотрит на дыхание углей и растворяется в гамме оттенков от ярко рыжего до серого. Из углей и огня выстраивается город. Кольхание тонких башенок. Нагромождение домов. Чердаки и крыши. Взлетевший пепел превращается в голубиную стаю. Небесный киномеханик наконец-то вставил оборванную киноплёнку. И женщина, застывшая в оргазме, заполнила собой проём окна:

*«Поэт испустил свою странную страсть вместе с последней строкой. И ещё не успела она остыть. Ещё витала она среди клубов дыма из отдохновенной сигареты. Ещё куртизанка поправляла кружева на шёлковых трусиках, как пришёл тот самый Валенок с тем самым портвейном и предложил. Заодно и познакомились: он носил **коричневый берет** и звали его **Орест Владимирович Валентин** (в просторечье Валенок), а её — **Мила** (в просторечье Миледи). Валенок оказался хорошим парнем и по окончании портвейна стал потчевать натюрмортом. И они пили коньяк из серебряных рюмочек, закусывая его прозрачным лимоном, а Валенок нёс долгую и нудную ахинею о том, что он художник, но не ремесленник, и потому ему гораздо важнее воспоминание о натюрморте, а не сам натюрморт, и это даже правильно, что они его съели. Миледи сокрушалась о том, что Валенок не пишет **Валтасаров пир**. А Олег рассказал про*

натюрвивр из подкаменных налимов. Беседа всё больше пьянела и тормозилась. Он ещё мог думать свою мысль, но уже не мог воспринимать чужие, или, скорее наоборот, уже мог думать свою, но ещё не мог постичь чужие. Наконец, Валенок уснул, уткнувшись в тарелку с печеньем. А изголодавшаяся Миледи тут же накинулась на Олега. Она ловко выпростала из джинсов уставшую плоть поэта и припала к ней чувственным поцелуем. Поэт откинулся на спинку кресла и закурил. Он выпустил тонкую струйку дыма, и вместе с ней перечеркнула комнату уже не очень трезвая строка:

*Усталость. Плюшевое море.
В подушках ломкие стихи.
И словно таешь в разговоре
Разбушевавшихся стихий.*

*Уходишь в ноль. В лавину. В пропасть.
В густую бурю нежных строк.
И лепестками одинокость
Ложится в твой прощальный слог».*

Эсинский подбросил сосновую ветку в потухающий город и выбрался из фильма... Лесные грёзы о городе... Режиссура костра, отразившегося в ночи... **Усталость металла...** Разрушение пути... Точка света, зажжённая им в стороне от торных троп... Тень от звезды, упавшая на ресницы... Младенческий плач филина... И этот шёпот набегающей волны... Волны воды и волны липкого страха...

Виртуальный викинг вернулся из небытия живым.

5. Высотный всадник

Полоса заблуждения. Погружение в туман. Наблюдение реки. Тоска по зрителю. Игра для одного. Вхождение в воды. Явление ястреба. Беседа с козлем и его хозяином. Приобщение к говну. Магия имени. Острова души. Тайна полёта. Жизненно важные вопросы. Хвала бесполезному. Суп поэта. Отрицание мистики. Приручение и одичание. Попытка называния.

Ночь, хотя и была короткой, но всё же была. Стало быть, не тундра. Стало быть, этот рассвет он встречает в средней полосе. В полосе своего заблуждения.

Эсинский погрузился в туман и как бы умылся. Выпил смородиновый чай из консервной банки. **Растерянно и долго смотрел на реку.** И всё не мог понять, чего же ему не хватает? Необычность положения, казалось бы, должна была утащить его на самые вершины поэтического восторга. Казалось бы, ему сейчас нужно нестись, широко растопырив глаза и уши. Плыть восхищённо по теченью обстоятельств. Ликовать утренней радостью и ночным возбуждением... А он...

Он же с грустью вспомнил свой дом и книги, и китайский чай из просвечивающих чашек на уютном балкончике с видом на сосны, и японскую музыку Китаро, и паркеровскую ручку, выводящую на рисовой бумаге в буквальном смысле горизонт строки...

Зрителя. Ему не хватает зрителя. Да — лес в партере. Да — небо в бельэтаже. Да — угасающая Венера на верхнем ярусе. **Но этого мало.** Бог, Звёзды и иже с ними слишком холодные зрители..., они не в состоянии оценить красоту ситуации, для них переживания заблудившегося Эсинского — всё равно что для нас страх муравья перед снежинкой. Другей. Другей, способных со-переживать и **быть свидетелями этого микропотопа** его души, ему сейчас не хватает... Финита ля комедия... Уже давно пора оставить сцену... **Гул затих,** и я сошёл с подмостков, прислонясь к дверному косяку...

А дверь вела совсем в иные комнаты...

Что же, сыграем эту пьесу для самого себя. Кто же и зритель, если не ты? **Раздвоение личности не догма**, а руководство к действию. Одна половина наблюдает, другая солирует.

Ед-и-ины па-рус и душа-а, герой и зрители едины...

И он вошёл в воды неизвестной реки, сбросив одежды и напряжение сердца. Обжигаящая прохлада осушила релаксацию нервов. Пескари целовали ему колени. Белые лилии распускались. Из кустов шиповника вывалился ястреб с перебитым крылом.

И это была уже неожиданность. Ну, река. Ну, пескари. Ну, лилии. Но ястреб! Должно быть, тоже заплутал в тумане. И напоролся крыльями на шип. Печальный ястреб, раненый туманом...

Эсинский тихо подплыл к берегу и, лёжа в воде, протянул руку к ястребиному когтю. (**Вспомнилось битовское наставление**, что хищника нужно ласкать по оружию.)

Огромный ястреб. Белый в чёрную ласточку. С клювом, расколовшим пространство напополам... **Левый глаз холодный**, бледно-жёлтый, словно Луна, пронзающая ночь, и небольшой зрачок, как море Облаков на лунной карте..., а правый, полыхающий огнём, похож на Солнце, густое Солнце, тронутое рябью, **с витой воронкой чёрного зрачка, и с выбросами вбок протуберанцев**, и с безрассудством факельных полей...

Огромный ястреб на красном песке. Ястреб, заслонивший небо. Ястреб, с удивленьем наблюдающий живого человека...

А я как рыба, обретающая твердь... **По просьбе дам хвостом, помазав губы**, заговорил на птичьем языке:

— **Ну, здравствуй, здравствуй, Монтигомо**. Как поживает Ваш хозяин? Видать, он перепил вчера пьянящей крови. Попался в когти перепел ему. А с будуна, вестимо, заблудился. И напоролся на колючий шип. Бывает, брат..., — такая наша доля. На вечер жизнь, а поутру шипы... Давай-ка, угощайся рачьим мясом. Воняет? Это, парень, с непривычки. Болотный дух, он, вишь ли, тоже ничего. В нём есть своя особенная прелесть. Не всё ж тебе вдыхать лишь кровь и небо, давай-ка приобщайся к говнецу. Вот так-то лучше. А теперь посмотрим, что тут стряслось с твоим большим крылом. Ну, не шипи, ведь ты же не змея. А знаешь, ястреб, как когда-то назывался тот куст, что поуродовал тебя? Он назывался Соборинов цвет! С таким названием он цвёл, а не кололся. Названье, брат, определяет жизнь. И если назовут тебя Горшком, горшком и станешь, и полезешь в печь, по собственной, заметь, инициативе. А ты вот — Ястреб. Это, брат, красиво.

Давай дружить. Ты будешь мне вместо попугая. И мы с тобой освоим острова... Необитаемые пятнышки души... Ты говоришь: какое тебе дело до островов моей запутанной души? Изволь, отвечу: ровно никакого. Но ведь и я тебя врачую просто так. Лишь из симпатии к твоим могучим крыльям. Ты хочешь знать, откуда я тут взялся? Я сам не знаю. С поезда сошёл. Поел малины. Отдохнул у кучи. Увидел сон. Ну, а когда проснулся, то просто-напросто пошёл на запах // вечерней засыпающей воды. Ты говоришь: уж не шпион ли я? **Я Вам отвечу: видите ли, ястреб...** Хотя б и так. Но только есть ли смысл шпионить за пернатыми друзьями? Ведь тут, дружище, сколько ни старайся, не приоткроешь занавес полёта. И дело не в пропорции крыла, не в весе перьев и не в тайне взмаха. Кто знает, может, всё наоборот, и, может быть, что это я тебе открою // секрет перемещения в облаках...

Ястреб молчал.

Вот так бы и сидеть здесь — на утреннем мокром песке, в ломких тумановых контурах жизни. Вот так бы и не идти никуда. Вот так бы и нести околесицу перед этим молчаливым ястребом...

— **И-и-а-к**, — сказал на это ястреб, что, по всей видимости, означало: «Ну и сиди, кто тебе воспрещает?»

— **Жизнь, мой милый пернатый хищник! Жизнь...** Жизнь заставляет меня двигаться, есть, пить, думать, писать стихи, любить свою Землю и своих женщин. Жизнь заставляет меня жить, и я, между прочим, этому несказанно рад.

— И-и-и-к,— воскликнул разговорившийся ястреб, что, должно быть, значило: «А ты превратись в дерево или в траву, или, на худой конец, просто в песок!»

— Ещё успею,— ответил Эсинский,— куда мне торопиться? Поживу пока человеком. Мне и человеком пока неплохо. Вот ты, высотный всадник, оседавший ветер, хотел бы стать, к примеру, человеком? Стать человеком, потерявшим место? Таким, как я? Иль, например, грибом, вот этим самым из-под тёмной ёлки, который собираюсь я сварить? Ты говоришь, тогда уж лучше — мной? Вот это правильно! Будь, ястреб, бесполезным. **Полезных, брат, как правило, едят...**

— Вот, угощайся. Это суп поэта: грибы, крапива, земляничный лист. Не хочешь? Ну, тогда мне объясни — как получилось, что кормлю тебя с ладони, а ты, гордец, ещё воротишь клюв?

Вы говорите: облака Судьбы, мистическое право горизонта, движение муравьёв и поездов столкнули два простуженные сердца и объявили перерыв их одиночеств. Возможно, так. Но всё же мистика тут, парень, ни при чём. Да мистики и нет, как таковой. Жизнь просто часто выбивается из жанра и сочиняет новые безумства. Без всякой мистики в ней столько удивленья. И столько в ней неожиданных поворотов...

Мы встретились с тобой и поменяли перья: я диким становлюсь, а ты, наоборот, становишься ручным.

Моя душа стряхнула тела прах. Твои крыла мою подняли душу...

Да, кстати, и пора бы мне как-нибудь тебя, дружище, обозвать. **Давай, ты будешь зваться Бармаглотом иль Брандашмыгом,** или... Подожди, а вдруг ты вовсе не самец, но молодая ветреная дама? Да и вообще: ты ястреб или кто? Быть может, коршун или осоед? Бывает всякое, и я не исключаю, что ты — **летающее сонмище моё...**

Пожалуй, имя выбрать невозможно... Но, впрочем, **истинное имя как раз и соитоит из выбора имён.** Поэтому решим: ты будешь зваться — Я, и мы избегнем всех невразумений, а в прошлом времени к тебе не стану обращаться и от эпитетов навеки откажусь, тогда и пол твой сохраниться должен на веки вечные в туманной заперти...

И пусть цепенеют мужья все от новых религий, и пусть задохнётся от радости // твой птичий коричневый хвост.

6. Весомый вклад

Отражения на воде. Волнения ястреба. Птичий кардинал. Дорога к небу. Золотистая вечность. Слёзы. Животные и женщины. Упорка кладов. Узлы.

Они шли берегом реки — человек и ястреб. Человек шёл неторопливо и праздно. Ястреб прыгал, усердствуя и поспешая. Человек был с чемоданом. Ястреб был с раненым крылом. В чемодане лежали деньги. На крыле засохли капельки крови. Деньги были бледно-зелёные. Кровь была тёмно-бордовая. Впереди расстилался лес. Позади оставалась жизнь. Лес был дремуч и тих. Жизнь была шумна и бестолкова. Человек и ястреб шли по песчаному берегу, а их отражения скользили по речной глади. Человек и ястреб раздвигали редкие травинки и воздух, отражения раздвигали облака и кроны деревьев. Человек и ястреб оставляли следы на песке, а их отражения продвигались бесследно. Но пройдёт время и следы на песке сотрут-ся, а отражения ещё надолго останутся в поэтической памяти человека.

Так странно — отражение на дрожащей воде.

Пожалуй, это одно из самых живописных и поэтичнейших явлений. **Абсолютно бесполезное и абсолютно прекрасное явление.** Это — та самая мимолётность, на которой и держится вечность. Слегка размазанная вечность, подпавшая под власть ветра и освещения.

Но ястреба не волновали отражения, ястреба волновало совсем другое. Ястреба волновала проблема движения. Ястреб устал прыгать в неизвестность. И ещё он боялся затупить свои

боевые когти. Конечно, можно было бы и не прыгать, можно было бы уткнуться клювом в траву и уснуть или попробовать умереть... но ястреб не хотел расставаться с тем, который не убил его, а, наоборот, накормил. Ястребу нравилось журчание непонятных звуков, то и дело льющих из рта его нового друга. Ястреб не хотел возвращаться в свою одиноכותь. И тогда он подпрыгнул, опираясь о воздух, и схватился когтями за плечо человека...

Так странно — ястреб на плече.

Если ты идёшь неизвестно откуда и непонятно куда, если под ногами у тебя речной песок, а на плече твоём раненый ястреб, если в голове твоей роятся отражения, а в руке чемодан с иностранной валютой, то ты уже не просто человек. Ты уже немножечко волхв. Ты уже почти что поэт. Ты уже едва ли не посвящённый. Ты уже чуть ли не птичий кардинал...

Песчаный плёс перешагнул через реку, а человек с ястребом на плече взобрался на обрывистый берег, поросший травой. Он подошёл к огромной сосне и, обняв её за шершавую талию, устремился взором своим к вершине. И вдруг он впервые увидел дерево. Он впервые увидел его снизу, от корней. Он увидел ветвистую и сучковатую дорогу к небу.

Странно это — дерево.

Деревья не умеют ходить, но зато они всю свою жизнь растут. Их путешествие происходит по вертикали. Медленное, красивое, возвышенное путешествие по вертикали. Хотя... хотя и по горизонтали. Будучи совсем маленькими, ещё не деревьями, но уже семенами, они улетают по ветру, выбирая своё только им принадлежащее место. И однажды выбрав, они его уже никогда не меняют.

Человек обнимал огромную, помнящую ещё чистые ветры девятнадцатого века, помнящую ещё небо без самолётов, помнящую непуганых птиц сосну. Он стоял, прижимаясь всем телом к этой золотистой вечности, и... плакал. Ему одновременно было невыносимо хорошо и нестерпимо страшно. Ему было страшно, что когда-нибудь это исчезнет. Исчезнут и он, и сосна, и ястреб. Ястреб, бросающий на него непонимающие, слегка обиженные и немного ревнивые взгляды из своих солнечных, с земельными пятнами, глаз.

— Э, да ты, как я вижу, ревнуешь. Подумаешь, Гаити! Надоело... Ну, раз ревнуешь, стало быть, ты у меня всё-таки дама. Хотя... хотя все животные немножко женщины. Точно так же, как и в настоящих женщинах всегда таится маленький зверёк. Не обижайтесь, миссис Ястреб. Глупо ревновать человека к сосне, и ещё глупее ревновать его к вечности. К сосне и вечности я могу лишь тянуться, а с тобой я улыбаюсь и шучу, а ними только плачу и робею. Давай-ка лучше отодвинемся от них и будем делать клад. Ты говоришь: зачем? Ну, это очень просто — не век же мне таскаться с чемоданом! Да и потом, мы возродим забытое искусство укупорки кладов. Искать клады дело нехитрое. Сиди да ройся в старых архивах, авось найдёшь шифрованную карту, ну а по ней вперёд, с лопатой и киркой, за золотом инков или пиратов. Сейчас, моя возвышенная миссис, век кладоискателей, а не кладоукрывателей, но мы, как робинзоны и пираты, просто обязаны спрятать эти деньги, тяготящие душу и руку. Вот ты увидишь, как изменится походка, когда в руке не будет чемодана. Я попрошусь к тебе в ученики, и ты научишь меня правилам полёта.

Теперь смотри: тринадцать метров влево по берегу от вековой сосны; здесь роём яму, на дно кладём песок и мелкие округлые камни, уже на них бросаем чемодан, опять песок и сверху вновь камни, потом земля, а в землю мы посадим вот эту маленькую, совсем ещё зелёную берёзку. Готово дело. Осталось лишь на это место помочиться и прочитать любое заклинанье, спасающее клад от разных гномов. Какое заклинанье? Да любое. Ну, например, вот это:

*Вдали, где сон пошёл на убыль,
Берёза гаснет, и по ней
Всего верней измерить угол
Меж солнцем и душой моей.*

Ты говоришь, причём тут этот угол? Не знаю, миссис. Но вполне возможно, что лишь ему известна тайна клада.

Углы — такое скопище энергий... такая пропасть странных напряжений... такое дикое стечение обстоятельств...

Не знаю, миссис. А теперь пошли! Помчались. Побежали налегке. Сквозь этот лес. Сквозь воздух. Сквозь прозрачность.

7. Ветхая вилла

Обретение дома. Называние реки. Переход через безумие. Запах кабарги. Вода и луна. Хижина и звёзды. Порог жилища. Островок цивилизации. Вереница Богов-Романистов. Поздний ужин. Вечерние занятия.

День прошелестел вдоль речного берега, цепляясь за птичий гомон, за запах воды и леса, за летний ветер, за поиски налимов под корягами и камнями, за странные чумные разговоры, за беспорядочные путаные мысли. День прошелестел, подобно календарному листку с рецептом вечности на пожелтевшем обороте. Прошелестел и... уткнулся в покосившийся домик, покрытый прогнившей соломой. И вместе с ним уткнулся в этот дом уставший путник, укрыватель кладов, немного волхв, немного кардинал. Пред ним река. А за рекою — дом. И путник сел, откинувшись к стволу засохшей ели, и... улыбнулся.

— Чудны дела твои Господи! Вот видишь, ястреб, — пустынный дом на берегу реки...

Оказывается, нужно было соскочить на полной скорости с этого курьерского поезда жизни, чтоб обрести свой дом. Лесную виллу с прохудившейся крышей.

Может быть, **теперь и я здесь осяду на этом вот потоке**, название которого никто, как видно, не умеет вполне установить? Ну что же, назовём его потоком безумия. И будем слушать его речи туманным утром и прозрачным днём, прохладным вечером и одинокой ночью. Смелее, ястреб! Мы перейдём это безумие вброд, не замочив волос и перьев. **Тем паче, мы с тобой вдвоём ведём себя здесь** на речных мелях, как рыбаки и дровосеки. Запанибрата здесь мы с рыбой, раком и беззубкой; ещё бы подружиться нам с газелью или кабаргой. Ты представляешь, ястреб! **Мы жили бы, как Хайя, сын Якзана.**

Ну, что молчишь? Ты, ястреб, обнимался // когда-нибудь с весенней кабаргой? Я тоже никогда. А говорят, что от неё исходит // **довольно сильный аромат муската...**

Но вот и хижина. **Послушай, ястреб, ты понимаешь**, что такое хижина? Что такое вода, луна и звёзды над соломенной крышей?.. Хижина и звёзды, ястреб, есть нечто переходящее, а вода и луна — уходящее. Но вода не может уйти совсем, так и луна до конца не исчезнет, впрочем, как и не распухнет до беспредельности. А вот хижина может и опустеть, а может и, наоборот, обрести хозяина...

И пусть я рассуждаю, как глупец, и пусть опасность для меня не существует, но буду жить здесь и зимой и летом, в сезон дождей, в сезон цветенья вербы, при первых заморозках и при таянье снегов, при пенье соловьёв и криках козодоя...

Я изучу грамматику лесов, грамматику простой и ясной жизни и стану жить, как оуленский затворник на грани про-свещенья и воды...

При переходе через порог нового жилища положено пускать вперёд кота, а если нет такого под рукой, то ястреба... Но если и он не хочет покинуть ваше тёплое плечо, **пустите вперёд бабочку сознания** — пусть оживит домашние углы и пустоту покинутого дома...

Вот островок чьй-то скитальческой жизни. Островок цивилизации среди дикой природы.

Топчан и травяной матрас. Дубовый стол. Огарок сальной свечки. Охалка дров. Рас-топка. Спички. На спичках этикетка с самолётом и год проставлен. Шестьдесят второй. В тряпице соль. Она уж пожелтела. На полке несколько журналов и газет: о пчеловодстве, об

охоте и рыбалке, о путешествиях, о лесе, о цветах. Есть и печурка с жестяной трубой. Два чугушка. Железный нож и кружка. Крючки и лески. Сломанный топор. Верёвки, лапти, старая корзина... На всём лежит слой пыли, паутина... и солнце, проскочившее сквозь щели, раскинуло оранжевые тени по всем углам.

Мой милый ястреб, как тебе известно, **все острова похожи друг на друга**, когда так долго странствуешь, и мозг уже не в состоянии удивляться. Вернее, он всё время в удивленье. Он погрузился в фазу восхищения. Свалился в плоскость странностей и чуда. И там обрёл свой истинный покой... Ты знаешь, ястреб, так и надо жить! Не важно где! Не важно с кем и сколько! Не важно для чего и почему!.. Есть нечто главное во всей дремучей жизни, и это главное я называю Миг. И если ты поймёшь, **что каждый миг и есть та самая неслышанная новость**, и если каждое мгновение есть для тебя густая неожиданность, и каждый шаг — отчаянный скачок в далёкие невиданные страны, то ты поймёшь и обретёшь великий смысл — Большое неземное Беспокойство, в своём величии превосходящее Покой.

Вот, например, ты, видно, полагаешь, что мы с тобой сейчас затопим печь, отварим себе супу в чугушке, а также чаю. Потом, поужинав, возьмёмся за журналы, и, почитав их на ночь, ляжем спать... Так, мол, всегда обычно и бывает. Но ты, как видно, недооценил, что мы в руках Большого романиста. Наверняка он что-нибудь придумал. Сейчас придёт сюда русалка или леший, а в подполе отыщется какой-нибудь бочонок коньяку. Мы сядем пьянствовать и станем толковать про водяных и про лесных поэтов. Читать стихи, сражаться с людоедом, иль по-иному как-то веселиться. А впрочем, кажется, он мистики не любит... Скорее завернёт к нам старый рыболов, с обычной поллитровкой самогонки и снижкой полосатых окуней. Мы выпьем под свежайшую уху, поговорим о клёве, о наживке, о разных хитростях при ужении рыбы...

Но знаешь, ястреб! Ведь вполне возможно, что и над нашим романистом есть ещё более великий сочинитель! Он дунет ветром или сядет мотыльком на свежесочинённую страницу и повернёт перо в другую сторону, и выправит сюжет к заветной норме... А там ещё один сидит — Великий цензор. Над ним ещё, ещё, ещё, ещё... Такая вереница из Богов, похожая на множество матрёшек. А выше всех, ты знаешь, кто? Не догадался? Представь себе — над ними правлю Я! Я концентратор тысячи энергий. И все события своей безумной жизни я вызываю из сердец Богов. Я их герой, но в то же время — Бог. Ведь у меня есть собственные строки. Чужие жизни, правящие мной: поэт, художник, нищий, куртизанка и спаниель по кличке Апельсин, и голуби... А у того поэта — тоже строки, а у художника — картины и холсты...

Но, впрочем... Наше дело — суп! А остальное — случаю и Богу.

Сегодня сварим корни камыша и стебли дягиля. Приправим их крапивой и живучкой, чуть-чуть кислицы, клевера и сныти. Гусиный лук и, разумеется, грибы. Теперь прочтём молитву, для наваара, и к трапезе. Ого! Что притащил ты? Мышь! Брависсимо! **Но ты не Монморанси**, и это тоже не Ирландское рагу! Поэтому поешь там, в уголке, и не ломай мне королевский ужин.

Ну, видишь, Ястреб, всё пока спокойно. Наш романист, наверное, устал от всевозможных странных экивоков. А может, не силен по части жанра. Ведь мы с тобой ушли из детектива в библиотеку детских приключений. И нам с тобой положено учиться — как делать лук и стрелы, как удить рыбу и охотиться на пчёл. Вот, кстати, этим и займёмся! Изучим эти старые журналы, и... Постой, постой, а это что такое!?

8. Влияние Воглеа

Мост от Христа до Будды. Поле абсурда. Рукопись. Встреча с хозяином. Энергия текста. Хор лунных лиц. Япония в ночи. Исповедь сомнамбулы. Искушение высотой. Преступление и наказание. Наступление и предсказание. Город из пустоты. Полярные овчарки и небесные пастбища. Прекрасная незнакомка. Колыбельная птичьей земли. Сон незнакомки. Вмешательство ястреба.

Жизнь опрокинулась. И каждый шаг всё больше выворачивал её наизнанку. И пожалуй, действительно, на огонёк его лампадки могли бы прийти и домовый, и леший. Придут, рассядутся за этот стол, изгрызенный древоточцами и короедами, выставят четверть можжевеловой горилки, достанут нехитрую закуску и поинтересуются: *Кто есть сей?* Откуда взялся? И почто древню нечисть тревожишь?

И ничего здесь не будет для него необычного. Подумаешь, домовые! Эка невидаль. Теперь он готов ко встрече с самим Буддой или Христом. Они бы возлегли под старой ракирой, и он (Эсинский) *послужил бы им мостом для понимания...*

Жизнь где-то не там (или, наоборот, там) свернула в лабиринте Судьбы и вывела его не на торную тропу с привычным изломом, *а в бескрайнее поле абсурда, на котором не действует компас ума.*

И всё-таки, несмотря на своё постоянное удивление, он сумел удивиться. Удивиться каким-то новым, ещё не знакомым способом... А казалось, было бы отчего? Всего лишь рукопись. Пожелтевшая старая рукопись, написанная ровным каллиграфическим почерком. Всего лишь несколько листков, затесавшихся в стопку журналов о пчеловодстве. Но поразил его не столько факт находки, сколько содержание. Уже само название влекло. Влекло чем-то неуловимо знакомым, горьким и родным:

Пришедшему

*Приветствую тебя, мой долгожданный гость!
Наконец-то! Наконец-то и ты добрался до этого дома!
Я ждал тебя. Именно тебя, и никого другого!
Да другой бы и не дошёл...
Другой бы просто-напросто не нашёл дороги...
Ты скажешь, прочитав всего пять строк:
«Увы. Увы. Произошла ошибка. Меня занёс сюда проказник-случай».
Но вдумайся, ведь он занёс ТЕБЯ!...
Ведь случай — только дал тебе возможность.
А ты сумел воспользоваться ей!
Не каждому дано увидеть Знаки...
Не каждому дано открыть звезду!
Сто тысяч глаз разглядывали небо.
Сто тысяч глаз скользили по звезде.
И лишь один постиг её рождение...
Вот так и ты... Я рад, что ты пришёл.
Ты здесь случайно, но необходимо!
Возможно, Дом. Возможно, просто ты притянут Домом.
О этот Дом!
Где каждое бревно впитало отголоски моей флейты.
Где бабочки ночные на стекло слетались, как разбуженные мысли.
Где воздух тёрся ветром о солому и шорохом своим тревожил
душу. Где мыши, словно серебристые принцессы, в подарок
принимали корку хлеба.*

*Где чёрный уж с венком на голове сливался с ночью...
Где рыбы выходили из воды послушать небо...
Где ястреба спускаются на плечи...*

*Дом.
Зимой запорошённый чистым снегом, а осенью дубового листвой.
По вечерам таинственный и страшный, а днём
пронзённый золотым дыханьем солнца.
Моя обитель.
А теперь — твоя.*

Какая-то сладкая жуть захлестнула Эсинского. На него словно бы обрушился голос звёзд или дымящихся в атомах электронов. Чёрные дыры его сознания кипели и испарялись. Энергия текста захлестнула его своим возвышенным дыханием. Он сидел, тупо уставясь в стол, и улыбался. А со стола, из каждой норки, оставленной древооточками, смотрела на него нежно-лимонная луна. В центре лун распускались прекрасные лица и пели. И этот хор, из точек на столе, пронзил его стремительным потоком. Он погрузился в полифонию звучанья, теряя смысл и очертанья слов... Он видел согбенного просветлённого старца, который писал своё завещание веточкой вербы, макая её в самодельную чернильницу из трав и вывода раскидистые буквы душистыми чернилами из смеси голубики и черники... Неверный свет луны ложился на слова. И чёрный уж свернулся на столе, как символ знаний. И...

Эсинский поднялся и подошёл к двери. Над тёмно-синей ватой леса повисла неправдоподобно большая луна. Покинутым младенцем плакал филин. Над рекой порхали летучие мыши. В душе струилась томительная нега ожидания. Казалось, что-то огромное и светлое пытается проникнуть в его сердце. Ветер реки и ночи ложился на грудь. И шуршала гнилая солома.

С такой луной мне не страшен и волк, заползающий в душу. Да что там волк, не страшен и дракон. Такая же луна была, наверное, в далёкой Японии:

*Домик в уединенье.
Луна... Летучие мыши... И...
Пожелтевшая рукопись на столе...*

Но что же дальше? Что там лежит на следующем листе?

Ужели можно что-нибудь добавить? Оказывается — да! Оказывается — можно! Можно, но только для этого необходима смерть... и ещё одна жизнь. Жизнь, владелец которой имеет совершенно другой почерк. Да и чернила... Чернила, похоже, были химические:

ЖИЗНЬ ПОД ЛУНОЙ (исповедь сомнамбулы)

Перед тобой второй хозяин дома. Как и предвидел мой предшественник, я очутился здесь достаточно случайно, но мало кто сумел бы поднять с земли эти лунные камушки подсказок, что привели меня сюда.

Моя жизнь здесь обрела свою завершённость и смысл. Мне уже было за семьдесят, когда я впервые переступил порог этого благославленного дома. Сколько же мне сейчас? 80? 90? 100? Не знаю. Уже и в то время меня не очень-то интересовал счёт времени, а вскоре я и вообще забыл о нём. Получилось так, что я как будто бы обрёл вечность. Мне казалось, что жизнь человечества сорвалась без оглядки в некое подобие чёрной дыры, и лишь я каким-то чудом сумел уйти за горизонт событий и оказался на краю вселенной. И теперь крушение звезды, по имени человек, застыло для меня. Время его коллапса растянулось до бесконечности. А я, минуя вечность, отдался в руки мимолётных мгновений. Отдался радости летящих по осени паутинок и первому снегу на ещё не опавшей листве, и столь любимому мерцанию луны сквозь радужную плёнку облаков, и цветению ольхи над талым снегом...

Я удил рыбу. Писал стихи на песке или на снегу, в зависимости от времени года. Пел свои песни и плясал ритуальные пляски. Мои скитания по внешнему миру ограничились рекой и ближним лесом, но зато, зато как удлиннились странствия вовнутрь!

Чтобы достигнуть Бога, сокрытого в твоих глубинах, необходимо отринуть из души мирскую суету: о подвигах, о почести, о славе и даже о любви... Захлопнуть сердце для шума аплодисментов и аромата признания... Движение вывесь предполагает тишину. Лишь в тишине мы слышим голос Бога...

О как легко от жизни отказаться во имя высоты! Жить тяжело, а возноситься вверх — легко и радостно!

Но вскоре я преодолел и это искушение высотой! Я научился жить светло и просто, а медитации и поиски забросил. Я научился снова вспоминать о людях, о днях своих, о книгах, о цвете неба сквозь тюремное окно. Я прочитал журналы «Пчеловодство», построил пасеку, посеял огород...

И вот сегодня, подводя итоги Пути, я снова возвращаюсь к событиям своей молодости, к тем странным дням, когда я впервые узнал о своём сомнамбулизме. Об этой возвышенной тяге к великому сердцу земной ночи...

Я узнал об этом случайно. Вернее однажды. Однажды, погожим солнечным утром, я, тогда ещё просто заматанный неустроенный младший бухгалтер, вышел, ещё до конца не проснувшись, из своей небольшой холостяцкой квартирке, закрыл дверь на положенные два оборота и случайно (ах, этот случай, тормознувший движение глаз!) бросил взгляд на почтовый ящик. И там, где в это время суток обычно гостевала пустота, сегодня что-то было. Сегодня что-то этой гостье помешало. Я размышлял: открыть или не стоит? Ведь если не сломался почтальон, и если он не перепутал время, то, стало быть, какой-нибудь мальчишка засунул мне туда коробочку с говном (такие шутки были характерны). Других разумных вариантов я не видел.

А вдруг там послание от какой-нибудь прекрасной незнакомки, не пожелавшей доверить своё письмо почтальону с потными руками?

Сейчас мне кажутся мои тогдашние сомнения унылым бредом. Перед тобой белеет сквозь дырочки тайна, а в руках твоих ключ от неё. Открой же! Какая разница, во что вляпаться: в любовь или в говно? Предайся жизни, а не срываешься вниз, в иллюзии неведомых посланий!

И я открыл. И вляпался! О как здорово я тогда вляпался!.. В ящике в аккуратном свёртке лежали деньги. Много денег. Целое состояние.

Минут пять челюсть моя пыталась прийти в нормальное состояние, а руки всё отнимали свёрток друг у друга, прятали его в портфель, снова вытаскивали, перекладывали в карман, делили на две части, пытались считать, дрожали и мельтешили. Левый глаз произвольно

дёргался. Горло исходило сухими комками. На спине выступил горячий пот. И только ноги не принимали никакого участия в жизни тела. Отнялись.

Но лишь сквозь свои дурацкие подёргивания мой левый глаз заметил серый китель с узенькой красной полоской, как эти вышедшие из подчинения ноги вдруг понесли меня вверх, перепрыгивая через ступеньки, спотыкаясь, задевая мной обо всё, что было хоть на колено выше пола.

А потом, в отделении, они размякли от трудов праведных и лишь легонько вздрагивали при криках горбатенького старикашки:

— Это он! Это точно он! Фонарь как раз ветром качнуло, и я его хорошо разглядел! Верите ли, с крыши по водосточной трубе спутился и шаст к сейфу! Я напротив живу. У меня бессонница. Я и увидел. Я сразу. Я сразу звонить побежал. А только вы опоздали малость. Он этот сейф, видать, как свои пять пальцев знал. И ведь как ловок-то — мерзавец! Эдак и не каждый гимнаст сможет.

Я был в то время нежаден, труслив и неловок. Поэтому в ночные похождения мне верилось с трудом. Неповоротливое сознание вообще отказывалось понимать происходящее. И даже на суде в последнем слове я говорил о себе в третьем лице, как о постороннем:

— Граждане судьи, если он действительно сделал это, то приговорите его к одиночке, чтобы не мог он мерзкому уменью своему обучить заблудшие души тюремных жителей.

Суд, то ли по радушию, то ли по равнодушию, то ли по иной неизвестной корысти, просьбе моей внял и уважил. Так что оказался он, то есть я, на нижней грани каменного кубика — эдакой псевдоигрушке для взрослых дядей.

Здесь-то, в этой светонепроницаемой камере, и слились воедино позитив и негатив моей духовной оболочки. Здесь-то и узнал я о своём лунатизме. Странном, необъяснимом раздвоении. Странной ни на что не похожей ночной жизни. Ночных скитаниях и встречах...

Эсинский почувствовал, как на щеку ему скользнул сквозь щель лунный зайчик. Он вырвался на мгновение из мягких объятий рукописной жизни и вышел в ночь. Светлое пятнышко лампадки ещё кружилось в отраженье глаз, впрочем возможно, это был светлячок, потому что вскоре загорелся ещё один и ещё, и ещё...

Эсинский сидел на покосившемся крылечке, и сознание его погружалось в восточную пустоту...

Из пустоты выстраивался город:

Светлячки превращались в матовые пятна фонарей, разрывающих мутный вечерний туман гигантского мегаполиса. Просека над рекой становилась бульваром, по которому шёл поэт в широкополой шляпе, и полы плаща его развевались.

Какое-то время Эсинский не мог понять, пригрелись ли ему этот поэт, или же, наоборот, он — воплощенье грёз поэта? Разумеется, второе было более правдоподобным, ибо поэтам пристало грезить о лесном уединении, в то время как он ещё не успел соскучиться по городским прогулкам. Но вскоре пустые сомнения покинули мечтательную душу. И незнакомый поэт продолжил своё шествие по Чистопрудному бульвару.

У его ног трусил белый заблудший пёс, предполагающий в неспешно бредущем поэте возможного хозяина, а навстречу им не то чтобы шла, но плыла невообразимо прекрасная женщина в пиратской косынке из чёрного шёлка и в сопровождении шоколадного спаниеля.

Собаки тут же приступили к ритуалу знакомства. И поэт остановился, наконец-то признав себя хозяином белого пса.

— Какой у Вас симпатичный пёсик. Это...

От её голоса на него повеяло иссиня-чёрной розой и осенним затяжным дождём... Поэты и так-то легко теряют остатки разумности, а уж когда представляется такой случай...

— Это очень редкая порода. Полярная овчарка! Но, к сожалению... К сожалению, для Москвы характерно полное отсутствие полярных овец, и нам, за неимением лучшего, приходится пасти облака и туманы. Впрочем, облака очень похожи на овец. Мы сгоняем их в тучные отары, и тогда в их топоте можно услышать громовые раскаты. А когда вожаки устраивают битву из-за какой-нибудь молоденькой овечки, то очень часто высекают молнию

изо лба соперника. Молния вонзается в сердце земли и будит в чьей-то душе уснувшие чары любви...

— Мне сегодня удивительно везёт. С утра я нашла *странный жетончик, на котором было написано «Желаем удачи!»*, а вечером встретила поэта, пасущего облака.

— Хотите, я сыграю для Вас на своей пастушьей жалейке?..

И он выдохнул из груди давно томившуюся «Колыбельную птичьей земли» Шерринга. А она закружилась в вечернем балете, как будто и вправду подбитая чайка... И листья клёна опали ей на плечи и на пиратский шёлковый платок...

— *Послушайте! Я уже слышала эту музыку! Я уже слышала её! Я слышала её во сне... Знаете, мне однажды приснился сон. Я была там совершенно некрасивой и даже уродливой. Представляете, я ходила на костылях и читала своему мужу Платона. Кажется, перед этим я попала в аварию, а он не бросил меня. Только стал очень много пить. Он пропивал почти все наши деньги, а жили мы, продавая мои наряды. Ведь хромоножке не пристало одеваться красиво. Ведь разряженные хромоножки выглядят очень жалко, а я не хотела быть жалкой. Я хотела, чтобы он любил меня без ног, любил просто за то, что я есть... Та авария, она... Она покалечила моё тело, но, возможно, излечила душу... Кажется, у Олега была любовница... Вернее, возлюбленная... Она жила в его сердце и полностью поглотила его траченное алкоголем сознание. Она стреляла в голубей из карабина и танцевала с ним странный голубиный вальс необузданной страсти. Она... Она была мной, до того как я стала калекой... Он любил ту, которая осталась в лабиринтах его памяти... И в конце концов... В конце концов он провалился в пепельницу, стоявшую у неё на столе, и где-то там в подземном переходе ему играли вот эту музыку... Он ушёл тогда под эту мелодию в рассвет и уже больше никогда не возвращался...*

Знаете, после этого сна во мне как будто что-то надломилось. Представляете, я развелась со своим мужем. И купила себе спаниеля. В том сне у нас был спаниель...

— Наки.

— Что? Откуда Вы знаете?! Действительно...

— Видите ли... Не знаю... Наверное, от Вас. Должно быть, Вы его позвали, а я запомнил.

— Вы чем-то напоминаете мне Олега, того Олега, который жил в его сознании, которым он хотел бы стать... Или стал... А кстати, как Вас зовут?

— Олег...

Острые когти вонзились в ямочку над ключицей, и Эсинский снова увидел себя на крыльце покосившейся хижины, под звёздным небом, с *ястребом на левом плече*.

9. Влияние Воглеа

Границы неба. Камера для проявления жизни. Пыль библиотеки. Единство мира. Братья по лунному свету. Одиночество Бога. Гимны к ночи.

— Взгляните, ястреб — светлячки и звёзды... Как будто небо снизошло на землю, или Земля пронзила небосклон... А впрочем... Впрочем, где они — границы неба? Пусть наши ноги ходят по земле, но голова уже касается небес... Человек как раз и есть тот мост, от земли до неба...

А знаете, ястреб, мне сейчас пригрезился город, в котором встретились герои моих снов.

Я гулял по бульвару с приبلудшей полярной овчаркой, и встретил свою возлюбленную.

Это так здорово, что она не забывает меня и приходит в мои сны и грёзы. Пришла — такая лёгкая, такая неземная... В пиратской косынке, с метелью в глазах и тихим листопадом в сердце... А ты весьма неделикатно спугнул её. Она и так-то была напугана цепью каких-то странных совпадений, а тут ещё и ты уселся на моё плечо.

А впрочем, события не выбирают, событиям можно подыграть на скрипке, фортепиано или на печатной машинке, но не больше того.

А когда в небе такая луна, то какая разнища, в какой точке земли находиться: здесь ли; в осеннем ли городе рядом с возлюбленной; в тюрьме ли наедине со своим прошлым? Ведь всё равно ум заходит за разум, и хочется петь лебединою песню...

А кстати, что же там случилось в этой тюремной камере?

Здесь-то, в этой светонепроницаемой камере, и слились воедино позитив и негатив моей духовной оболочки. Здесь-то и узнал я о своём лунатизме. Странном, необъяснимом раздвоении. Странной не на что не похожей ночной жизни. Ночных скитаниях и встречах...

*Здесь, в этой камере, я проявил удивительную киноплёнку своей тайной жизни. В перерывах между баландой, не тратя времени на сон и прогулки, я неотрывно прокручивал фильм о ночных бдениях своего *alter ego*, всё более и более сливаясь с ним...*

Моя вторая жизнь была похожа на захватывающий детектив, происходящий в пространстве духа. Я не был заурядным лунатиком, чьи похождения ограничиваются ночными разговорами и размахиванием руками. У меня было не просто расстройство психеи, но скорее, наоборот, высшее её движение, некий прорыв в область сверхсознания...

Откровения планет и звёзд странным образом переплетались с подкожным смыслом старинных книг, которые я читал, пробираясь в ночные архивы и библиотеки, с искусством взломщика минуя бдительную охрану и обманывая сигнализацию...

Это была одна из тех мистических ночей, когда свет и мрак чередовались со странной быстротой. По небу мчались облака из древней книги, похожие на призрачных великанов. На пустынных улицах царил мёртвая тишина, и лишь высоко в воздухе хозяйничал, словно невидимый дух, свирепый вихрь.

Я, как древний фольклорный ведун, пробрался через печную трубу в отдел рукописей Центральной библиотеки. И, следуя настроению обезумевшей ночи, решил побеседовать со средневековым кардиналом Джовани Фиданца. Но не успев открыть старинный фолиант, как заметил небольшое облачко пыли, вылетевшее из узорчатого камина, моего тайного хода в это хранилище духа. Отложив манускрипт, я спрятался за тяжёлой портьерой и увидел, как из каминного проёма выбрался коренастый человек в холщовой куртке, чем-то напоминающий молодого Достоевского. Он уверенно подошёл к книжным полкам и достал оттуда какие-то трактаты на средневековой латыни.

Чем-то неуловимо знакомым пахнуло на Эсинского со страниц рукописи. И он вдруг всем существом своим ощутил тончайшие пути эфемерной паутины, пронзающие насквозь мировое пространство. «Все судьбы связаны единой пеленой, — подумалось ему, — но лишь немногие наблюдатели способны потянуть за эти нити, распутывая марево событий. Похоже, что и я попался в эти сети, вот только не понятно, кем: пауком или мотыльком? Возможно, и пауком, плетущим кружево мироздания и ловящим в него подходящие мысли и связи... Миллионы мыслей несутся мутным потоком через фильтры моего сознания, оседая на узелках памяти и вкуса, и лишь одна из них попадает в перекрёсток вечности и мгновения... Сопоставить немислимое, соединить в одно звено бесконечно далёкие связи, ощутить солёный вкус открытия на пересохших губах — вот удел провидцев и поэтов, единственных, кто ещё способен помнить о прежнем... Да что там помнить — способен изменять... Ведь если ты — составная часть единого пространства, то буквально каждая твоя мысль мгновенно изменяет окружающий мир во всех его временах и направлениях, но в то же время и любое движение в любой самой дальней галактике мгновенно изменяет твою жизнь... И если тот преобразователь вселенной, который скрыт в твоей душе, начнёт безо всякой надобности творить новые сущности, а старые увязывать в гордые узлы, то вселенная может рухнуть к ногам наблюдателя и творца, и тогда где же жить ему?»

Ну а вселенная, наплевав на вмешательство Эсинского, продолжала своё расширение, и каминная пыль чёрным облачком курилась над пожелтевшей рукописью, и юный Дверкин (чем-то напоминающий молодого Достоевского) перелистывал средневековые тетради.

Я увидел близкое мне существо. Великое одиночество ночной сомнамбулы было нарушено... Но можно ли мне открыться ему? Не вызовет ли моё внезапное появление шок пробуждения (или, наоборот, засыпания)? Не послужит ли толчком к возвращению в дневную реальность? Я стоял в невыносимой тоске, боясь своим дыханием пошевелить тяжёлую портьеру... Одиночество рухнуло, но общения не состоялось.

Незнакомец взял со стола оставленного мной кардинала. Бросил рассеянный взгляд по комнате и...

— Если вы за портьерой и боитесь оборвать мою лунную жизнь, то ваши тревоги напрасны. Вы неспособны на это.

— Как вы догадались обо мне?— спросил я, выходя из укрытия.

— В прошлую нашу встречу я сам стоял на вашем месте и мучился теми же самыми сомнениями. Впервые за долгие годы моих ночных скитаний я встретил полуночного собрата, но не мог обмолвиться с ним ни единым словом. С тех пор я стал приходить сюда каждую ночь в надежде на новую встречу, и вот...

Мы были очень взволнованы. До этого каждый из нас был первым или, наоборот, последним живым существом в пространстве ночи. Мы были одиноки одиночеством Бога. И вот состоялась нежданная встреча двух сердец, прорезающих тьму. Орбиты комет, бороздящих нетронутый космос, пересеклись...

В ночи он звал себя поэтом Феодором, а его дневная тень была школьным учителем, которого ученики величали Фёдором Михайловичем и за глаза дразнили Достоевским.

Мы шли по предрассветным улицам, шатаясь от радости, как пьяные. Мы упивались нашей встречей и возможностью разговора. Темы наши скакали, обрывались, замолкали на самом взлёте, поворачивали на сто восемьдесят, перетекали и возвращались...

— Сначала я не знал, что есть день, каждое утро я спокойно ложился спать и напроочь забывал о ночных полётах, точно так же забывая по ночам о дневной маете. Иногда я удивлялся существованию книг, мне казалось, что книги — это дар неба или остатки разрушенной цивилизации, потом я понял, что цивилизация не погибла, но попала в пространство сна или впала в какую-то кому. Я был последним. Мир умер или заснул. А мне доверено представлять его. Случайные прохожие или ночные сторожа существовали как бы в иной реальности. Они брели по улицам, как зомби, не способные к мысли, не способные к постижению...

— А попытки контакта вызывали у них шок, убежание, необъяснимый ужас...

— Так трудно было поверить в свой путь...

— Да, да. Я пытался не засыпать, пытался пробраться в утро, но словно пелена спускалась на сознание и дальнейшее накрывало мою жизнь диким кошмаром, в котором я изо дня в день выводил балансы, подсчитывал дебет и кредит, выписывал счета, кланялся начальству и заигрывал со смазливенькой секретаршей.

— А я ставил двойки, выгонял из класса, чертил на доске окружности и учил вычислять площадь круга. Но ты знаешь, однажды мне удалось... Каким-то чудом я проскочил в дневную реальность. Я пришёл в класс и начал говорить о красоте, об условности математики и физики, о поэзии ночи, об иллюзорном покрывале маяя, о пути... Я говорил, не слыша звонков на перемену и на следующий урок, а они слушали, открыв рты, и впитывали живительную влагу познания в свои сердца.

На следующий день я был уволен и отправлен к психиатру.

— Послушай, Феодор, а тебе не приходило в голову, что мы с тобою порожденья ночи, а значит дьявола, бесчинства, темноты, и, может быть, правы те, кто пытается вылечить нас — вырвать из нашей души ростки непонятного бунта?

— Ты меня удивляешь! Ты пытаешься мыслить, как дневное двуногое и к тому же лишённое перьев! Конечно! Конечно, мы с тобою порожденья ночи! Но не тьмы. Только убогое рациональное сознание привыкло делить весь мир на свет и тьму, тишину и звучание, добро и зло, жизнь и смерть... Но ты-то, ты-то должен понимать, что ничего этого нет и в помине. Нет мирового зла! Нет тьмы! Нет тишины и смерти! Но точно так же нету и добра! Нет чистого

нетронутого света! Нету сплошного звучания! Нет вечной жизни! Да ведь и ночь происходит не от того, что кто-то выключил свет! НОЧЬ! Ночь — это поэтизация света! Ночь позволяет нам рассмотреть огонь! Она дарит нам звёзды на небе, снег у фонаря, зажжённые окна и праздничные фейерверки. Ночь пробудила в тебе сомнамбулу, потревожила твою душу до самого основания. Ты стал человеком ночи и, быть может, первой звёздочкой, сошедшей на землю.

Помнишь Новалиса?— «Ты тоже благоволишь к нам, сумрачная ночь? Что ты скрываешь под мантией своей, незримо, но властно трогая мне душу? Сладостным снадобьем нас кропят маки, приносимые тобою. Ты напрягаешь онемевшие крылья души».

— «Теперь я пробудился — я принадлежу тебе, значит себя, ночь, ты превратила в жизнь, меня ты превратила в человека — уничтожай пылким объятьем тело моё, чтобы мне, тебя вдыхая, вечно тобою проникаться...»

— Ночь ведь единственное время, отданное человеку на откуп! Ночь — это его личное время. Ты разделался с дневной маетой, и... Свободен! Закружись в невыразимом безумстве, умчись за пределы обычного мира, отдайся волнам зовущего космоса... Но почему-то большинство людей предпочитают проспать свою Свободу, обретая жалкую иллюзорную тень её в сновиденьях. И только мы выходим на заиндевевшие крыши. Только мы раскрываемся звёздам. Слушаем темноту и вдыхаем поэзию ночи...

— Но всё-таки нельзя не чтить и солнце. Как ни крути, а оно подарило нам жизнь.

— Жизнь нам подарила Луна, а солнце лишь позволило осуществиться. Я недолюбливаю солнце! Эта слишком яркая метафора не вмещается в рамки моей поэзии. Солнце ослепляет и усыпляет. Оно заслоняет собой остальные звёзды. Для нас, конечно, Солнце самая яркая звезда, но ведь это только вопрос расстояния. По гамбургскому счёту Солнце всего-навсего типичный карлик, а ярче всех на сегодня Ригель, но он-то как раз скромно стоит в тени, понимая, что и его яркость — просто-напросто вопрос времени.

— Ну нельзя же переносить человеческое лицо в звёздные всполохи и пожары.

— А почему? Кто сказал, что звёзды неживые? Кто сказал, что у камней нет сердца? Кто сказал, что деревья не молятся солнцу?.. Видать, шрамы цивилизации ещё остались на твоей душе и ты до сих пор не обрёл изначальную дикость сознания.

— Да я в общем-то... В общем-то, конечно возможно, но... Но я хочу сказать, что солнце всё же позволило осуществиться одному из вариантов сознания и мы с тобой тоже часть жизни проводим в этом самом варианте, так для чего же нам оспаривать его? Для чего бунтовать против целого мира?

— Но ты ведь споришь! Быть может, и не стремясь к этому, но всё-таки споришь. Сейчас-то ты сын Луны, а не Солнца. Под Солнцем ты всего-навсего бухгалтер, покупающий на обед котлетку из дохлого мяса, а на ужин пьющий жидкий чай с ванильной булочкой. А ночью! Ночью ты почти что рыцарь духа! Пионер звёздного пространства! Тебе открыты сокровенные таинства и магические знания. Ты покинул вариант Солнца. И твоё ночное Я не хочет возделывать и переделывать Землю! Ты споришь, и ещё как споришь с этим маслянистым подсолнечным вариантом сознания!

И здесь меня окутала привычная рассветная пелена, и я на целый день позабыл о Феодоре.

Эсинский, должно быть, был гениальным читателем, ибо сердце его билось в унисон с сердцем героя, и если герой погружался в сон, то засыпал и Эсинский. Глаза его неудержимо слипались, но сознание, трепещущее от неясного страха, не хотело отпускать тело в иную реальность. Эсинский затушил оплывшую свечку, свернулся клубочком на пропылённом травяном матрасе, укрылся потрёпанной телогрейкой и... оставаясь в своём любимом состоянии на тонкой грани яви, грёз и сна, он вызвал город...

10. Видение верха

Дождь на озере. Шалаши на острове. Безглагольная песня. Зайчики на ресницах. Неизвестные стихи. Утро. Соломенная собака. Антракт по собственному желанию. Грусть Бога. Квант сознания. Растворение в потоке мечты.

Они сидели в небольшом кафе, у ног их спали мокрые собаки, дымилось кофе, и дымились взгляды, и расстилался странный разговор...

— Хочешь, я подарю тебе дождь на серебряном блюде уснувшего озера? Мы будем плыть на деревянной лодке среди шелеста капель, среди распускающихся кругов на тихой воде, среди запаха мокрого неба...

— Я буду гладить озеро рукой, а ты — срывать губами облачные слёзы...

— Вечерний ветер заплутает на сердце, и рыбы будут припадать к руке...

— Мы будем править озером и миром...

— Мы будем странствовать меж строчек и дождей...

— Шалаши построим из еловых веток на островке среди цветов и трав...

— И встретим ночь с пронзительной луною...

— А ранним утром побежим купаться в холодный свежесывающий туман...

— И лес нас встретит птичьим пробуждением...

— А ты подыграешь ему на камышовой дудочке...

— А ты споёшь ему нежную пейзажную песню, которая замрёт над озером неподвижным облачком.

— Я спою ему песню, которая не будет жечь ничьи сердца, потому что в ней не будет ни одного глагола.

— Я хочу услышать её! Я хочу услышать её прямо сейчас!

— Почему бы и нет? Могу я подарить тебе хотя бы песню!?

И он пошёл к крошечной сцене и, о чём-то переговорив с музыкантами, запел под еле слышимый аккомпанемент саксофона:

Жёлтый песок, голубая вода, синяя птица.

Белый дымок, золотая звезда, ясные лица.

Палевоый мох и седая роса, рдяные листья.

Солнечный сок, вековые леса, громовый выстрел.

Солнечный сок, вековые леса, громовый выстрел.

Палевоый мох и седая роса, рдяные листья.

Белый дымок, золотая звезда, ясные лица.

Жёлтый песок, голубая вода, синяя птица.

Эсинский проснулся от солнечного зайчика, дрожащего на ресницах. Впрочем, а спал ли он? Облачко пейзажной песни ещё витало в его голове. А язык ещё помнил вкус кофе.

И тут Эсинский стряхнул с сознания остатки дрёмы и вдруг обнаружил, что читает в пространстве ещё не известные ему стихи:

Я проснулся, иль это мне снится?

Может, жизнь, может, просто слова...

Островок, одинокая птица,

Отраженья в воде... дерева...

При слове «птица» появился ястреб. Он шёл, приволакивая крыло и поднимая с пола многолетнюю пыль. Пыль кружилась в солнечных прорезях. Эсинский блаженно улыбался.

— Что, брат ястреб, невесел? Как будто ты не хищник, а теневая птица молоткоглав, прилетевшая сюда с Мадагаскара. Зачем грустить? Смотри, какое утро! **И солнце не скрывают облака!** Давай отыщем, ястреб, орхидею! И удивимся красоте цветка.

Или лучше вот что! **Лучше мы сделаем соломенную собаку!** Ибо из мириада существей человек мудрости предпочитает создать соломенную собаку. Соломенная собака, дружище, — великое дело! Пусть она не лает, не кусается и дом не охраняет, но зато она способна вобрать в себя энергию дурной тоски и страха смерти... Тем более у нас достаточно соломы. К тому же поблизости нет орхидей.

И Эсинский принялся лепить из соломы собаку. А ястреб сидел на траве и молчал с укоризной.

— Ты полагаешь, что твой спутник сбрендил. Ты полагаешь, нужно торопиться и не собаку делать, а челнок! И плыть вперёд к желанному впадению... Дойти до города или хотя бы до села и прочитать в конце концов газеты. Вернуться за деньгами... Зажиреть... **Увы, мой друг, мне некуда спешить...** Сегодня для меня важна собака... **А челн построю** — что мне торпиться? Река не может завтра пересохнуть...

Ты говоришь, что пьеса нашей жизни должна нестись стремительно и скоро. Ты говоришь, что зрители зевают, а режиссёр отправился пить водку. Пойми, мой ястреб, — должен быть антракт. Хотя б на время нужно не играть, а возвращаться к самому себе. Прислушаться к своим глубинным токам. Увидеть суть и красоту вещей...

Возможно, я не подчинился режиссёру и соскочил с курьерского сюжета, чтоб разобраться с миром и собой... А может быть, злобный режиссёр загнал меня в нехоженые дебри и, как отмычкой, мною открывает иные заповедные миры? А впрочем, если так — ему я благодарен... Здесь, ястреб, стал я приближаться к своей издёрганной, израненной душе. Здесь мне открылось видение верха...

Ты знаешь, ястреб, в той далёкой жизни, где так и не успел я отчитаться, мне стало плохо. Я, ястреб, очень близко подошёл к глубинной сути квантового мира. И вот когда я ощутил в себе котёл безудержных клокочущих энергий, которые, увы, мне неподвластны, то загрустил великой грустью Бога...

И лишь сейчас как будто отхожу. Сейчас мне открывается другое. Сейчас я постигаю квант сознания в пространстве безрассудства и любви..., конечно, попадая в поле мысли, свободный квант, вбирает направление и начинает продвигаться по оси извне-вовнутрь или изнутри-вовне с мгновенной скоростью (заметь себе особо). И это-то линейное движение всегда царило над моей душой..., а вот сейчас я квантам-созитронам дал полную свободу выраженья и растворился в памяти столетий, в сознании любимых и детей, в стихии ветра и в стихии бреда, в потоке просветленья и мечты. И странно вот что: это растворенье ничуть не поломало оси мысли, они сквозят как солнечные струи, собой пронзая марево потока...

11. Винительный вираж

Два лучших занятия на свете. Похмелье духа. Преданность ястреба. Голографический образ любви. Лекция о грибах.

Эсинский поставил соломенное чучелко у крыльца и блаженно потянулся.

— Пойдёмте-ка, ястреб, купаться.

Купайтесь каждый день и пишите — это два лучших занятия на свете! Вы не обучены держать в когтях перо? Привыкли согреть пером не душу, но всего лишь тело? Ну это, дорогой мой, поправимо! Пишите песни клювом на песке! Или **своим осенним криком** в небе! Пишите, крыльями взбивая облака. Пишите смехом на весенних травах! **Вы предок древней птицы Гоготун**, сломавшей онемение хаоса, ужели Вы не будете купаться? Фи, ястреб, вы не Аполлон. Прощайте, друг мой, уплываю навсегда...

И он опрокинулся с головой в прохладные утренние воды потока безумия и отдался течению, лишь слегка подгрребая руками. Родниковая влага вымывала из его души остатки чёрного похмелья. Густого похмелья от всей его прошлой жизни... Сегодня похмелялось не тело. Сегодня похмелялась душа. И не похмелялась даже, а вспоминала. Вспоминала, как когда-то была водой и небом, и облаками, и утренним ветром...

А ястреб неуклюже прыгал по берегу и кричал. И его

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,

Возмущено до предела нелепым поступком друга.

И то ли он не вписывается в излом

реки или же просто не выдерживает испуга

от возвращения в отступившее одиночество, но

ястреб уже в воде. О как глупо, мокро и неприятно...

И всё-таки он плывёт, похожий на мокрого соломенного пса, брошенного хозяином...

Богом, другом, отцом или, скорее, сыном... Ястреб обнимает его крылом,

Нежно потирается об ухо клювом,

И ястребиные слезы любви

стекают на белую в чёрную ласточку грудь.

И ястреб снова чувствует себя счастливым.

— Ну, что ты, что ты, дурачок мой. Ну, что ты, я же просто пошутил. Неужто ты подумал, что я и в самом деле вышел навсегда? Такого, милый ястреб, не бывает! **Ведь нет такого места — далеко**, и нету расставанья навсегда! Куда ж я от тебя? Я просто шёл купаться. Ты должен доверять мне. И не смей ревновать меня ни к реке, ни к рукописи, ни к соломенному псу, понял?..

Они плыли в светлых водах потока безумия — человек и ястреб. Человек плыл на спине и видел небо. Ястреб плыл на его груди и видел лицо. Лицо и небо скрещивались в их удивлённых взорах и создавали в воздухе голографический образ любви...

— Ну, пойдём. Пойдём. Уже и хватит на сегодня растворяться в этом мире, лучшем из миров. Пора что-нибудь и внутри себя растворить. Супчик какой-нибудь. Как ты, ястреб, относишься к супчикам? Отрицательно? Дело понятное. Вы, птицы, говорят, готовы есть и камни. Но почему-то не едите суп?

Давай-те, ястреб, собирать грибы. Ты знаешь, что **грибы растут от грома**? Не знаешь? Знай теперь: всему виновен гром! Но, впрочем, есть предположеньё, что это просто божие плевки, кашки или даже вши. А кеты, вишь ли, ястреб, полагали, что все грибы — увядшие пиписки: волнушки, сыроежки и лисички, то обронили по дороге бабы, а подосиновики, белые, маслята и, разумеется, красавцы мухоморы — потери наших братьев-мужиков. Ты говоришь — грибы! **Их многие считали древом мира!** Из них готовили напиток — мухоморник, и от него тащились, как с гашиша. А опьяняющий напиток древних ариев! **Та самая божественная сома!** Ты знаешь, ястреб, что это такое? Настойка мухоморов на моче! Она стирает контуры вселенной и отворяет новые миры! А белая весёлка! А пейотль! Поистине грибы и есть ключи от мира! Особенно когда охота жрать.

12. Вакханалия вакуума

Стойка на голове. Мир, переломленный песчинкой. Песочная молитва. Легкокрылый вальс. Суть песка. Великий Ноль. Утешение мгновением.

Из домика тянулся аромат грибного супа. Солнце стояло в зените. Эсинский лежал на песке. Ястреб пробовал притвориться голубем и уснуть. Ветер отсутствовал. Жужжали стрекозы и слепни. Упругое лесное лето горячими клубами наполняло грудь. Сознание

дымилось и расстиралось тонкой полоской вдоль травы и песка. Эсинский перевернулся на живот, подтянул колени к подбородку, построил из головы и рук равнобедренный треугольник и встал на голову. Мир перевернулся. Под ногами распласталось небо. Голова ушла в горячий песок по самым брови. Взгляд отражался от поверхности воды и тонул в перспективе, венчающей горизонт... Ястреб подозрительно озирался, ожидая очередного подвоха, расправлял крылья и наполнял воздух гортанным тревожным криком. Наконец, Эсинский вернулся на Землю и лёг в позу **Иоанна Крестителя** с картины Иеронима Босха. На его ресницах дрожали песчинки, преломляя пространство и ломая цвета. Мир увеличился. Флюиды Земли застилали глаза... Эсинский сощурился, добавляя радуги в растаявшие краски. И не сказал, а как бы выдохнул почти молитву в разноцветный сверкающий воздух:

*Вот так, войдя в неведомое Где,
Случайно встав на голову и рухнув,
Вдруг обнаружишь тонкую песчинку,
Ломающую Землю на цвета...*

*И ты постигнешь глубину пространства,
И ты проникнешь в истину песка,
И дней твоих неведомая мера
Раскроется космическим цветом.*

*И ты откроешь внутреннюю плоскость
Давно тобой рождённых облаков...*

— Позвольте, ястреб, пригласить Вас танцевать. Мы будем реять в легкокрылом вальсе и, **может быть, постигнем суть песка...**

И они закружились в причудливом танце. Человек в своём необузданно диком веселье и ястреб в испуге и непониманье. Человек держал ястреба в своих ладонях бережно, как хрупкую бумажную скульптуру. Ястреб дрожал всем телом и хлопал крыльями, пытаясь избежать ненужных потрясений. Человек выглядел пьяным, да и, наверное, он был пьян, возможно, он наелся мухоморов, а может быть, просто захемелел от полноты жизни. Ястреб выглядел значительно трезвее, потому что вряд ли бы он стал есть мухоморы, да и полноты жизни он никогда не терял... Человек замер в горячих лучах полуденного солнца и поцеловал ястреба в клюв. Ястреб потупил свои крылья и, как бы стесняясь нахлынувшей нежности, легонько укусил человека за нижнюю губу. Человек опустился на колени и, словно продолжая танец, лёг на песок.

— Песок, мой ястреб. Это всё — песок! Песок достоин нашего внимания. Я раньше думал суть его — стекло... Но нынче... Приглядись к нему поближе. Крупицы истины и море пустоты! **А пустота, мой друг, прообраз всех вещей!** Она — есть вечный памятник движенью! Она — есть клей, связующий песок! Великий клей, связующий планеты, галактики и даже электроны! Дающий жизнь и приносящий смерть...

Мы сами, ястреб, скопище пустот. Пустое множество божественного смысла.

Наш путь лежит из ничего в ничто. Из ниоткуда мы уходим в никуда.

И наши Цели — детские пустышки, иллюзии божественных сосков...

И наши достижения — костыли, с которыми мы движемся по кругу, рисуя в мировом пространстве Ноль... Великий Ноль! Начало всех начал! Та худенькая точка, из которой исходит бесконечное решение, **где потаённое пристанище энергий** ждёт выхода. А выхода всё нет!

Понявшим это — трудно и легко...

Что остаётся нам в бессмысленном движенье?..

Мы утешаемся безудержным мгновеньем и дышим им, и любим, и живём...

13. Vis vitalis

Сон на песке. Ночь. Хвост Земли и космические струны. Роса пробуждения. Путь от реки до дома. Дрова и вода. Табак и чай. Рукопись в рукописи. Проповедь жизни. Реальность авторства. Метапоэзия ветерка. Дополнительные миры. Божественная кинокамера. Копия и оригинал. Основание жизни. Стихотворные соки. Равновесие Пива и Мира. Ущербный Бог. Неспешность.

Эсинский уснул на горячем песке, укрытый робкой тенью прибрежных трав, убаюканный бормотанием реки и шептанием ветра, утомлённый своими блужданиями в пустоте, облаканный солнцем и ястребом, умиротворённый... А когда проснулся, то была уже ночь. Удивительная ночь, вобравшая в себя едва проснувшегося поэта. Густая темнота накрыла мир, и только где-то в чёрной вышине искрился нежно-жёлтый хвост Земли. Он задевал космические струны, и музыка безбрежной тишины пронзала междузвёздное пространство. Роса покрыла плечи и ресницы. Роса промыла сердце и глаза. И чистая прохлада пробужденья пронзила душу...

«Вот так и нужно жить, — в который раз подумал наш герой, — спать на песке, когда устанешь, есть грибной суп, когда проголодаешься, купаться в холодной воде, когда становится жарко и греться у костра, когда замёрзнёшь...»

Рубашка его промокла от белой росы, и было зябко. Эсинский поёжился и, улыбнувшись небу и песку, отправился к дому.

И это был Путь.

Вроде бы ничего и не было, но как раз это-то и было самым главным. Он шёл, жил и радовался, не отдавая себе отчёта. Извечная гипертрофированная рефлексия, присущая всем поэтам, осталась где-то там, за фиолетовым горизонтом наступившего Мига. Ночь открывала вход в какие-то затерянные миры. И каждый шаг покрывал миллионы парсек. И каждый вздох охватывал века... Он проникал не мыслью, но дыханьем в просторный космос...

Бескрайний путь озябшего поэта. Путь от реки до дома. Путь от пробуждения до звёздной, веселящей радости. Короткий путь, равный бесконечному Дао...

Эсинский набрал дров для печки и принёс воды в чугунок. Дрова были от старой перекрученной временем ивы, вода была из чистой ночной реки. Дрова упирались острыми сучками в грудь, вода дрожала матовым зеркалом, и на дно чугунка опускались звёзды.

Как удивительно это, как таинственно!

Я подношу дрова, я таскаю воду...

В незамысловатой шкатулке из вишнёвого дерева лежала самодельная трубка и древний пересушенный табак.

Эсинский, напившись чаю из корней шиповника и веточек смородины, неспешно набил эту старую трубку и закурил.

В этом доме отсутствует время, — подумал он, — я пью чай из того же самого чугунка, я курю тот же табак из той же самой трубки, я читаю то, о чём когда-то написал её владелец...

На берёзовом чурбаке в клубах ароматного дыма в богом забытой хижине сидит путешествующий поэт. Перед ним лежит пожелтевшая рукопись на плотной бумаге, на которую падает неровный пляшущий свет из открытой печурки. Буквы колышутся в отблесках пламени, и вместе с ними колышется в отблесках чьей-то горячей мысли сознание поэта. Он уже как бы не просто читает, но странствует вместе с героями текста по их насыпаниям и пробуждениям:

Однажды Феодор принёс мне пожелтевшую рукопись. Автором её был прадед Феодора, монах-еретик Феодосий Ветлужский. Этот старец, по словам Феодора, построил себе хижину

ну на одном из глухих волжских притоков и проводил дни свои в размышлениях, рыбной ловле, собирании грибов и ягод. Перед смертью Феодосий Ветлужский вернулся в город и оставил вот эту самую рукопись — великое заветие для своих потомков. Сверху чьей-то другой рукой было подтисано заглавие, удивительно хорошо подходящее для этого заветия — «Проповедь жизни». Эта проповедь имеет, на мой взгляд, великую силу откровения, и потому я привожу её здесь в том виде, в каком она сохранилась в моей памяти. Возможно, при передаче я утратил некоторые основополагающие строчки Силы, но общий смысл и тон проповеди отпечатался в моём сердце, подобно солнечному зайчику, который я и отпускаю сейчас на бумагу:

Вам, укоренённым в Вере своей, той, что кормила животворными соками многия поколения ваших пращуров, важно ли, из чьих уст обратится к сердцу вашему новое и извечно старое Слово? Вам, из века в век подверженным ядовитому одурманиванию туманами богопроникновенных речений, неужели так важно: кто обратится к вашему сознанию с новою, от Земли идущую проповедью? Повысится ли ценность и убедительность слов моих, если скажу вам: кто я есмь и откуда пришёл? Надо ли, подобно Иисусу Христу, провозглашать себя сыном Божьим или же, подобно Кун-цзы, хорониться за своё земное происхождение?..

И, поистине, стоит ли обманывать добродушие всех внимающих мне, ибо и сам я не могу до конца определить ту силу, что привела в движение непрекращающийся пожар в сердце моём? Иногда ведь чудится мне, что будто бы связан незримыми нитями со всеми человеческими мирами, чудесным образом проскользнувшими в светлую точку души моей. И случается так, что едва уловимым промельком отразится в чёрных зрачках моих такая, казалось бы, необъятная и разноликая, История всех народов, когда-либо населяющих Землю. Бывает со мною и так, будто чувствую лёгкую негу приволжских трав, тех, что ласкали ступни Зороастра, или же вдруг, как живое, увижу отраженье ущербной Луны, то, что выловил с глади озёрной величайший из мудрых — Чжун-цзы. Иногда же и тот, несказанный, не имеющий сходства ни с чем, да в общем-то и несуществующий поток инобытия как бы проходит сквозь постижение моё...

Так кто же я? Избранный богом пришелец или же точно такой же, как вы, человек, с тою лишь разницей, что удосужился с большим вниманием выслушать древние тайносокрытые токи, те, что струятся под аэром каждой души? Я не решаюсь и даже самому себе дать ответ на этот, возможно, и вовсе не нужный вопрос.

Эсинский глубоко затянулся, выбираясь из цепкого плена двоенной рукописи, подкинул в печку дрова и подумал: «Вот уж, действительно, странная проповедь! Мне неизвестно, кто Я и имею ли право учить вас, но у меня есть сила сказать вам! А это уже ваше дело, как относиться ко мне и что считать за источник моего сокровенного знания!» И вспомнился ему давнишний спор о том, выдумал Карлос Кастанеда своего Дона Хуана или же тот существовал в действительности? «На самом-то деле, — подумалось ему, — выдуманный Дон Хуан не менее реален, чем любой другой. Да и насколько же ничтожен вопрос о его сущности, по сравнению с учением, которое он излагает! Точно так же не имеет никакого значения вопрос о сущности Феодосия Ветлужского. Был ли? Придуман ли? Какая разница? Повысится ли ценность и убедительность слов его, если узнаю: кто он такой и откуда пришёл? Разве есть отличие между придуманной и физической реальностью? Если и есть, то моё внутреннее восприятие уравнивает их метафизический смысл. Какая разница, откуда прольётся на тебя осенний дождик истины: из уст пророка или с языка младенца, из текста священного писания или со страниц бульварной газеты, с амвона церкви или с экрана телевизора? Какое дело мне, откуда вошло в меня знание? Какое дело мне до его ложности или истинности? Важна лишь стройность, красота и тот отклик, который породило оно в душе моей». Эсинский осознал вдруг, что смотрит на потускневшие от времени буквы и пожелтевшие межбуквия и не видит стоящего за ними текста. Плавное течение первых строк утатило его в бурный водоворот собственных мыслей, и он забыл об откровениях Феодосия.

С чего же начать свою повесть о Мире подлуном? С самого главного или, быть может, с того ощущения, что вызвал во мне ветерок, прилетевший с весенних подтаявших пашен и залпывавший в моей поседевшей браде?

Что за вопрос? Я начну и с того и с другого!

Как ни покажется странным, но сей ветерок, веселящий и душу и разум, в сути своей и является наиважнейшим! Ибо в его дуновенье сокрыта метапоэзия нашей, никем не разгаданной Жизни...

*Тут и заметим, что Жизнь я почитаю намного верховнее Духа. Жизнь! Бытиё, с его бытом и запахом ветра, с болью утрат и печалью ненайденных смыслов, с радостью новых открытий и новых рассветов, с гомоном птиц и с дождём, застигающим в поле. **Всё в этой Жизни достойно присутствия Бога**, в каждой дождевине сверкает его отражение...*

Путь свой земной никогда не направлю к ложным лучам осиянного горного мира. Ибо я знаю и в том бесконечно уверен, наша Земля была создана как дополнение к горному миру. И несуразно считать нашу жизнь подготовкой к смерти. Мы же не скажем, что облако лучше, чем море! И ведь нельзя утверждать: будто воды озёр и ручьёв устремляются к небу. Так же и туча, дождём истекая, отнюдь не стремится на Землю.

Теперь понятно, почему этот старец Феодосий назван монахом-еретиком. Ещё бы, ведь эти странные полустихотворные откровения провозглашают примат Земного бытия над бытиём небесным!!! Эдакое **российское возрождение Зороастризма**. Хотя, какой тут к чёрту примат? Бытиё земное дополняет бытиё Небесное. Принцип дополнительности, применённый к теологии!!! А из этого естественно следует, что живущие на Земле должны направлять свои помыслы к земным радостям и земным заботам. Наша жизнь ничуть не хуже потустороннего существования, да она и не может быть хуже, она просто другая! «Мы же не скажем, что облако лучше, чем море!» Хорошо излагает старик! Он, пожалуй, больше поэт, чем проповедник. Одни эпитеты чего стоят: «печаль ненайденных смыслов», «туча, истекающая дождём». **Это просто праздник какой-то!**

Но и, однако, не нужно не помнить о горнем. Мир наш не прост и пронизан божественным светом...

Наши далёкие предки считали живыми и камни. В молнии видели гнев всемогущего Бога Перуна, в ветре — дыханье его, а в дожде — чьи-то горькие слёзы.

Тысячью глаз наблюдало полное небо — за человечеством...

Мы же над этим смеёмся. Мы, гордецы, объяснили и Небо, и Солнце, и Звёзды. Но объяснили-то только поверхность, а что там за ней — не узнали.

В странствиях мне довелось посмотреть любопытную штуку. Некий искусник запомнил кусок моей жизни на плёнку. После же он показал мне его, хотя он показал — лишь поверхность.

Так же и звёзды. Возможно, они — только подсветка для хитрых небесных машинок, нужных Богам, чтобы жизнь записать и запомнить.

Вот это да! Тут уж, пожалуй, не поэзия, а научная фантастика. Кстати, почему бы и нет? Разве нельзя допустить, что Солнце — это искусственная подсветка, необходимая для того, чтобы записывать нашу жизнь на киноплёнку в божественных или в научных целях? Но на само-то деле, это, конечно, чепуха и главное совсем не в этом. Главное в самой идее наблюдения! Да — два мира взаимодополняемы и взаимонепересекаемы, но они некоторым образом могут наблюдать друг друга. Если представить себе, что вся наша жизнь фиксируется каким-нибудь сопливым киномехаником или стенографируется каким-нибудь жалким романистом...

Конечно, киноплёнка возьмёт лишь поверхность, но ведь и божественная механика не стоит на месте! Там уж наверняка состряпаны машинки для записи и чувств, и мыслей, и желаний. А если существует такая всевышняя техника, которая способна скопировать меня со всей моей подноготной, то чем же эта копия будет отличаться от оригинала? Разве

только тем, что копия живёт в строгих рамках записи, а оригинал обладает собственной волей. Однако, точная копия не должна подозревать, что она копия, и тогда...

Тогда где гарантия, что я оригинал, а не всего лишь копия!? Кстати, для моего Я это, по всей видимости, безразлично. Копия и оригинал отличны для внешнего наблюдателя, а изнутри это абсолютно одно и то же. Ведь полная иллюзия свободы воли ничем не отличается от реального свободоизъявления. Поэтому полная внутренняя идентичность снимает проблему выявления аутентичности!!!

Другое дело внешний наблюдатель, живущий в абсолютно ином пространственно-временном континууме. Ведь если у него существует возможность копирования и размножения копий, то, разумеется, должна существовать и возможность вмешательства в их жизнь — некий усовершенствованный вариант компьютерного фильма, в котором зритель способен вмешиваться в судьбу героев. И тогда возникает искус поиграться с различными копиями, помещая их во всевозможные времена и обстоятельства и даже сталкивая их друг с другом. Вполне реальная идея множественности миров.

Ого, блин! Здорово меня понесло! Послушал бы эти разглагольствования старик Феодосий.

Верую твёрдо, всё это во власти Господней. Он наблюдает за нами и даже.., думаю, может участвовать в жизни. Ставить препоны, ломать перед нами преграды, чем-то помочь, помешать или просто добавить простору... Только одно остаётся ему неподвластным — наша душа, наши мысли и наши желанья.

Да он и в самом деле, как будто услышал меня! Это же почти точь-в-точь пересказанные принципы компьютерной игры, спроецированной в божественную плоскость!

Дух мой свободен, и в этом я равен с Богами!

Невмешательство во внутренний мир! Как же я сам-то об этом не подумал! Ведь этот принцип наносит существенный удар по идее точного дублирования человеческой жизни. Если уж электрон в совершенно идентичных условиях может пройти по различным траекториям, то что говорить о человеке, обладающем свободой воли и практически каждое мгновение делающем сознательный выбор пути? Шансы, что он при одних и тех же обстоятельствах повторит свою жизнь, видимо, близки к нулю. Но, однако, можно снять копии с человека в каждый дискретный момент времени на протяжении всей его жизни, и интегральная сумма этих копий даст полный фильм о пройденном единожды пути. Но остаётся открытым вопрос, а возможно ли, в принципе, соединение в единую цепь всех этих разрозненных кадров? Или же Феодосий прав, и на плёнку может быть отснято только поверхностное течение жизни? Скорее всего такая стыковка невозможна. Наверняка этому соединению перпятствует какой-нибудь принцип нестыковки внутреннего и внешнего времени. То есть, отснятая жизнь, по сути своей, должна образовать некий «веер», в котором из каждого кадра начинается собственное движение. Мгновение повторимо, но неповторима связь мгновений!

Дух мой свободен, и в этом я равен с богами!

Интересно, а что бы я сделал, если бы Бог допустил меня к управлению своим «Божественным компьютером»? Поигрался бы, наверное, по полной! Посмотрел бы на себя со стороны, забросил бы себя в какие-нибудь экстраординарные обстоятельства. Но... стоп, стоп, стоп, я же не смогу увидеть СЕБЯ со стороны! Копия — это уже не Я, это уже совершенно иной человек. Копия свободной личности возможна лишь на дискретный момент времени. А уж если говорить о заброске СЕБЯ в некоторые отнюдь не тепличные условия, то флаг вам в руки — вот она, заброска. Неужто я здесь и сейчас читаю эту самую рукопись по воле какого-то компьютерного романиста? Впрочем, рукопись-то он, пожалуй бы, и смог мне подкинуть, но мысли... Мысли, которые она породила...

Дух мой свободен, и в этом я равен с Богами!

Н-да! Силён, силён старик Феодосий!

Дух мой свободен, и в этом я равен с Богами! Было б иначе, исчезли бы споры религий. Бог бы внушил всем единое горнее знание. Кончились б войны, исчезла бы разница в Вере. Мир бы постиг свою цель и узнал бы своё назначение. И опустилось бы царство Небесное к людям. Жизнь же земная по сути своей бы исчезла...

То есть неприкосновенность внутреннего Я и определяет возможность нашего Земного существования. В противном случае оно потеряло бы всякий смысл.

Мы же живём в этом дивном божественном мире жизнью земною, со всею её красотой. Вкупе с безумием, с мудростью и с вдохновеньем, с чёрною злобой и с чистой небесной Любовью, с Верой, неверием, мыслью и вместе с сомнением. Всё здесь пронизано чисто мирскими страстями. В них мы должны kloкoтaть и искaть, и пениться! В них нужно видеть свои стихотворные соки...

Да он, чёрт возьми, недурной поэт, этот Феодосий. «Стихотворные соки», блин! Хороший образ — эдакое объединение животворных соков и стихотворных строк. Для него, похоже, как и для Жуковского, — жизнь и поэзия одно.

Эсинский прикурил погасшую трубку и задумался. Читать дальше не хотелось. Слишком много всего. Надо сначала хоть как-то переварить свалившееся, чтобы не забить его дальнейшим потоком этого странного откровения. Ему вспомнился день накануне начавшихся приключений. Они сидели с Михеичем на травке на Ленгорах и пили пиво. И Михеич нёс какую-то пургу о том, что растрчивая себя направо и налево, приобретаешь весь Мир плюс ещё немножко, а сохраняя себя, якобы всё теряешь. А Эсинский ответил, вроде того, что на хрена ему нужен весь мир, ему, мол, ещё пару пива — и достаточно. А Михеич уверял, что, покупая пиво, получаешь на сдачу весь Мир, если пия его, думаешь о Небе или, допустим, стихи слагаешь...

Бог ты мой! Неужели же это было всего-навсего пять дней назад?! Или даже четыре?! А кажется, что он прожил ещё одну жизнь... Забавно... А вот если, действительно, он порождение какого-нибудь своего персонального Бога, сколько же он-то потратил на создание этих четырёх дней? Неделю, месяц, год? И если он вдруг прекратит своё творение, что же тогда произойдёт со мной? Могу же я ему надоесть в конце-то концов! Что уж во мне такого особенного? Сплю на песочке, рукописи читаю, с ястребами валандаюсь. Нет бы плот построил да скорее бы в города вернулся. Учудил бы там что-нибудь эдакое...

Надо иметь поистине божественное терпение, чтобы сносить моё существование. А может, он ущербный — мой Бог-то?

Может ему нравится моя неспешность?

14. Вещие вещи

Белая тишина. Гроза в ночи. Молитва молнии. Летаящая смерть. Тайна навсегда. Тумановые контуры рассвета. Вещий сон. Синяя плоскость. Встреча с Богом. Дополнительность образа и подобия.

В душе его наступила вдруг белая тишина. Возможно, это был сон его персонального Бога, а может быть, перенасыщенность прозрений вызвала это вселенское молчание... Облака белого безмолвия окутали горячее сознание, и мир на какое-то мгновение перестал существовать... Но вскоре лёгкий ветер мысли прошелестел во внутреннем пространстве. И вот уже в глухой периферии его микрокосма поднялся бриз заоблачных стихов... Они подняли дуновенье духа, движение заблудшей красоты и... потерялись в дальней перспективе. И лишь высокий образ тишины остался в сердце.

И в это время ударил, прокатился, загрохотал где-то в глубине чёрной ночи июльский гром. Небо раскололось на тысячи тысяч прозрачных прохладных комочков и обрушилось наземь беспокойным дождём. Мир метался в рваных отсветах белых молний. Обветшалая соломенная кровля протекала десятками тонких струй, которые разбивались об

пол, устраивая маленькие домашние фонтаны. И в единственном более менее сухом углу тревожно вскрикивал ястреб.

Человек подбросил в печку последнюю охапку заготовленных на ночь дров и подставил лицо под витую струйку протёкшего неба. Он раскинул руки, как бы принимая в себя эту лесную грозу, как бы сливаясь с громозвучной песней разгулявшейся бури, и закричал, опьянённый небесным вином: «Э-гэ-гэ-гээй!!!...»

И то ли на этот призывный клич, то ли просто по стечению стекающих обстоятельств ворвалась в дом, как белая голубка, одна из молний..., она металась, **скрученная в капле**, в горячей капле, что вобрала в себя единство воздуха, пожара и воды...

И сразу дом пронзила напряжённость, как будто где-то отключили звук, как будто смерть зависла перед носом, и хочется окинуть одним махом всю свою жизнь, а ты никак не можешь от огненного шара оторваться.

И в этот самый миг на странный огнедышащий клубок рванулся ястреб... Но за шаг до смерти наперерез ему рванулся человек. Должно быть, крылья, руки и тела столкнули с некой мёртвой точки воздух, должно быть, этот воздух отодвинул в сторону летающую огненную смерть. И она, смущённая, прижалась к печи, щека огня к огню, пылание к пыланию, и... взорвалась!

Отброшенные в угол, упали вместе человек и ястреб. Огонь взметнулся, опрокинул крышу и разлетелся на десятки капель неспешно догорающих углей. Они шипели под потоками дождя и постепенно превращались в пепел.

И сердце ястреба дрожало под рукой в своём неясном птичьем беспокойстве. А человеческое сердце упиралось в его крыло и остывало с догорающим пожаром:

— Вот так-то так мой бестолковый друг. Бывают в жизни разные причуды. Мы жили с тобой, и это хорошо. Но ты... Но ты-то для чего полез на этот шар? Что, перепутал молнию с голубкой? **Решил сожрать её, подобно богу Индре?** Эх ты, пернатый легкокрылый дурачок, а если бы сгорел?.. Однако, чёрти что! Гроза в ночи! Откуда, что, зачем? Ужели просто атмосферный фронт? Физически понятный спад давлений? Ужели просто облака и тучи?..

Ястреб положил свою голову в уютную впадину между животом и бедром человека, успокоенно прикрыл глаза и задремал. Человек погладил его по спине и надолго замолчал. Что-то таинственное творилось в его душе, что-то такое — недоступное пониманию богов и птиц. И это было то тайное, что не может да и не должно стать явным. Тайна от нуля до бесконечности. Тайна навсегда...

Уже давно окончилась гроза и стихли ветры. **И красота врывалась вместо пепла.** И гром ночной сменялся тишиной. Лишь капли замолчавшего дождя срывались с обновившихся деревьев. Да ещё птицы пели сумасшедше. И пахло свежесочинённым утром. И поднимался еле видимый туман. И первые рассветные лучи едва проснувшегося солнца пронзали воздух...

— **Что за смех! Что за радость, если мир постоянно горит!** Вы, покрытые мутью и тьмой, почему ж вы не ищите света?! Почему в ваших глазах не отражаются молнии? Почему на протянутую ладонь к вам не падает с неба метеорит? Почему к вам в окно не заглядывает заблудившаяся комета?

Кто ответит мне, что же произошло???

.....

Возможно, просто атмосферный фронт, возможно, гнев Перуна или Зевса, а может быть, всему виновник я. Вернее, тишина, нахлынувшая в душу. Вполне возможно, эта тишина на моего творца нагнала скуку, и он, желая малость поразвлечься, подвинул траекторию небес...

На этой мысли Эсинский заснул. А может быть, переключил своё сознание в какой-то мне не ведомый режим.

Ему приснилась голубая бесконечная плоскость (возможно, небо, а может быть, бескрайний экран компьютера). На этой плоскости появилась надпись:

«ВНИМАНИЕ! ВЕЩЕЙ СОН!»

Надпись сжалась до золотистой точки (не солнца), и над ней проступило рукописное слово:

«ТУДА»

От слова до точки протянулась золотая стрелка. Он приближался к этой точке и как бы сам становился частью её.

Потом он увидел лицо. Усталое, но горящее каким-то внутренним светом счастливое лицо. Лицо обладало окладистой бородой и болотно-зелёными глазами. Глаза смотрели на него и как бы видели его, но не замечали. Они видели его скорее изнутри, чем снаружи. Они предполагали его, но наверняка не знали о нём. Они пред-понимали его, но не догадывались о его намерениях. Они лучились божественным огнём и выдавали Бога...

Он увидел руки, которые порхали над клавиатурой компьютера. Они то замирали, как бы задумываясь, то очень-очень быстро набивали какие-то знаки и буквы, то поднимались к бороде и теребили её, а иногда (ну надо же!) ковырялись в носу.

«Не Бог! — подумал Эсинский. — Какой же он к чёрту Бог, если в носу ковыряется! Богу как-то не пристало в носу ковыряться. Хотя... по образу и подобию... Хм, неужели же всё человечество, хотя бы изредка, но всё же ковыряется в носу? Неужели же нет такого, который бы ни разу в жизни не ковырялся? Неужели же и Боги?»

«Но если предо мной творец, то где же творенье? Я? Точка? Слова? Пожалуй, слова. Пожалуй, он пишет слова. Слова, способные вдохнуть жизнь. Интересно, интересно! Никогда ещё я не был частью слова. И даже не слова — точки... Эдакая циклическая включённость, я являюсь частью фразы, но и сам состою из фраз, подобных этой... И всё-таки забавно было бы прочесть эту самую фразу, находясь в её поэтическом чреве. Так, так, попробуем. Вот это, видимо, «З», это — «а», это — «б», это — «р». Получается — «забр». Красивое слово. Ну-ну. Это, очевидно, «о», это — «с», это — «и». То есть — «оси». Теперь вообще абракадабра какая-то — «тьстрочк», «уи», «лидвее»... Ах, вон оно как! Понятно! Совсем другое дело. У этого Бога просто-напросто нелады с пробелами. Теперь вот всё очень даже понятно:

***Забросить строчку или две
В компьютерный экран.
Там, где за авторским тире
Живёт одна из стран,
Живёт одна из многих стран
В коротеньком тире...
Вся жизнь её проходит там -
В экранной синеве.***

Да он недурной поэт — этот Бог! Хотя и в носу ковыряется, а стихи-то весьма приличные... Грустит. Тоже мне — Бог. Интересно, это всё-таки он ТАК про меня написал, или же это я ТАК его перевёл? Или это коллективное творчество?.. Смотри-ка ты — закурил! Во дела! Ну, Бог, слагающий стихи, — это ладно. Бог, ковыряющийся в носу, конечно, смешно, но терпимо, НО Бог, курящий сигарету, — это, извините, нонсенс какой-то. Это уже какая-то карикатура на Человека получается. То есть, если он ковыряется в носу и курит сигареты, то в чём же наше отличие? Ужели же только в масштабе? Возможно, ещё во времени, в том смысле, что я есть Его порождение. Хотя он точно настолько же порождён мной, как и я им. Да и масштаб. Что такое масштаб, если речь идёт о пространствах сознания? Там такие понятия не имеют смысла, ибо он есть часть меня, но и я тоже только часть его.

Стало быть, действительно, — по образу и подобию.

15. Великий валун

Похвала глупости. Воздаяние замыслом. Утренние стихи. Дополнительность Тела и Духа. Жизнь как постоянная Планка. Дополнительность человека и общества. Великая Глыба.

Крыша над ним была разворочена. И сквозь неё он увидел бесконечную голубую плоскость — возможно, всего лишь компьютерный экран господ Бога, где облака и ласточки не что иное, как картинка-заставка, необходимая для отдыха дисплея.

— Было бы глупо верить вещим снам,— подумал Эсинский,— ласточки это ласточки, а облака есть облака. Глупо полагать, что сны насылают Боги. Глупо думать, что у тебя есть свой персональный Бог. Глупо лежать в углу обгоревшей хижины, с уснувшим ястребом на коленях. Глупо. Но если бы он был умным, то стал бы министром или, на худой конец, директором завода. Был бы он умным, сидел бы сейчас в костюмчике и галстучке на каком-нибудь идиотском совещании и вздыхал бы о прозрачных водах лесной реки, не доступных по состоянию дел в отстающей отрасли. Был бы он умным..., хорошо всё-таки, что он не так-то чтобы умён, но скорее мудр. Хорошо, что он просто-напросто глуп с точки зрения умного человека. Хорошо, что непонимание и мудрость родные сёстры. Хорошо сидеть в обгоревшей хижине со спящим ястребом на коленях! Хорошо видеть ласточек в настоящем лазоревом небе. И даже если они просто выдуманы, то можно ведь радоваться и удачному замыслу. Всё-таки в воздухе реют ласточки, а не, например, драконы... Впрочем, каждому воздаётся тот замысел, который он заслужил. И если ты, допустим, завоевал сердца божественного мира, то ты сможешь пережить своего собственного Бога в чьих-то чужих продолжениях. Как это сделали, например, Скарлетт О'Хара, Буратино, Наташа Ростова, Шерлок Холмс и многие другие. И секрет бессмертия Кошея вовсе не в игле, а в привлекательности образа. Дурь, конечно... Но только что же в нашем прекрасном мире не Дурь?

При слове «дурь» ястреб встрепенулся и открыл свои бездонные глаза, окатив Эсинского теплом правого и томной прохладой левого. Эсинский потянулся и сладко зевнул. Утро дрожало в капельках ночного дождя и звенело всеми нотами тишины. Высоко в небе летел одинокий гусь. Вставало солнце.

— С добрым утром, мой обгоревший лётчик! Как спалось Вам, сэр, после баталий с ночными демонами и луноликими молниями? Не хотите ли принять ванну, выпить чашечку кофе, переодеться? Быть может, желаете усладить свою душу возвышенной беседой и стихами? Извольте:

*Плотен туман, глух комариный звон,
Гладок песок, шеренги деревьев длинные.
Холоден берег, рыба клюёт на луну.
Гусь на рассвете криком тревожит руины...*

Ах, ястреб, ястреб. Ну как же жить нам дальше в этом мире, лучшем из миров? Что делать нам с ночной катастрофой? Как воспринять руинность бытия? В какую сторону пустить стрелу сознания? И, кстати, что там пишет дальше Феодосий?

Эсинский стряхнул чёрный пепел со старой рукописи и, присев на край обгоревшего бревна, углубился в чтение.

Мы же и сами являемся мира частицей. Ведь неспроста нам даровано плотское тело... Тело и Дух — вот единая суть человека. Тело и Дух, где одно дополняет другое.

Если бы их попытался постичь, например, коренной небожитель. Он бы, я думаю, просто бы что-то не понял. Мог бы постичнуть он Дух, но ничто бы не понял о теле. Мог бы и тело постичь, если б только его обездушил...

Изящный поворот сюжета! Ведь это же всё тот же Принцип дополнительности, введённый для иных объектов. Соотношение неопределённостей для души и Тела!

Всё — так. Чем больше мы понимаем тело, тем меньше понимаем дух, и то же самое наоборот.

Тело — это координата системы, а душа — это её импульс. И они не могут одновременно принимать определённые значения.

Что же сыграет для них роль постоянной Планка? Видимо — Жизнь. Если переменить отклонения души и тела от определённых (идеальных) значений, то это произведение всегда будет меньше Жизни. Конечно, всё это притянута за уши, но что-то тут есть. Ведь неспроста же мы часто совершаем довольно вредные манипуляции со своим телом (вредные, разумеется, с точки зрения тела, а не духа), например, курим табак, пьём водку, принимаем наркотики, а иногда даже идём на физическую смерть... Но, с другой стороны, и тело зачастую делает весьма неэстетичные, уродливые (с точки зрения духа, конечно) вещи, например: опорожняется, сопливится, потеет и т.п.

Впрочем, и мы невольны их понять в нерушимом единстве. Ведь отдаваясь течению разума тела, мы отключаем на время веления Духа. Духу же следуя, гасим желания тела.

В горнем тумане колеблется их единенье...

Соотношение неопределённостей не зависит от наблюдателя, но есть свойство, присущее самой природе объекта! Это он сказал или я так услышал?

В горнем тумане колеблется их единенье...

Вот уж, поистине, старина Феодосий на мегаобъектах предвосхитил открытия Гейзенберга и Бора.

В горнем тумане колеблется их единенье... Их единенье и есть наша светлая жизнь. Жизнь, с её бурями, взрывами странных решений, противоборством высоких и низких стихий... Ей. Ей одной отдавать нужно силы. В ней усмотреть свой великий божественный смысл.

Смысл жизни и состоит в самой жизни. Вроде бы и не ново, но здесь этому смыслу придаётся некое божественное, самоценное значение. Жизнь не есть подготовка к потустороннему бытию, как это полагают христиане, иудеи и мусульмане. Это и не испытание, сквозь которое необходимо пройти, дабы подняться на более высокую ступень бытия (перескочить на следующий компьютерный уровень). Жизнь — это дар, который нужно воспринять с благодарностью, радостью и любовью.

И здесь, сидя на обгорелом бревне, в лесу, омытом грозовой капелью, забыв о завтраке и о самом себе, читая и воспринимая, вдыхая и хмелея от нечаянной радости, вдруг поражаешься дальним словом, быщим прямо в захворавшее сердце, и оно начинает дрожать в предвкушении утренней песни...

Жизнь непроста. В ней таятся подводные камни. Много извилов уведат её в тупики.

И для того, чтобы жизнь прозвучала поэмой, нужно сопрячь во единстве десятки различных частей.

Ты не один в этом мире, и, значит, нужно вливаться в огромный людской организм.

Но, увлекаемый им, в нём растаять не должен. Так как, пойми, он не больше, чем ты, ибо он тебе равен.

Он довершает тебя, как земля довершает небом, или как Дух довершает животное плотское тело.

Так-так. Теперь принцип дополнительности применяется к паре: человек и общество. Весьма и даже весьма неглупо! Ведь и в самом деле, человек без общества как бы и не человек, но и с другой стороны, растворяясь в обществе, он также перестаёт быть человеком и становится некой статистической единицей с анкетными данными: пол — муж., национальность — русск., вероисповедание — языч., год рождения — 1963, последнее место работы — Институт проблем.., и даже мирно сосуществуя с обществом, человек может потерять свою индивидуальность, а вместе с ней и человеческий облик. Стало быть, и этой парой управляет соотношение неопределённостей, и она проплывает сквозь бытие в до-

вольно туманном волнообразном единстве, а постоянная Планка в этом случае всё та же Жизнь. Похоже на то, что Жизнь, и в самом деле, есть некое универсальное мерило для всех метафизических объектов.

Вот тебе и чтение на грозových руинах! Это обгорелое бревно, мало-помалу приобретает для меня статус **Великой Глыбы**, творящей всё сущее.

16. **Vanitas vanitatum**

Приключения Феодора. Зимняя любовь и снежное счастье. Дочь лунного безумия. Пять лет тюрьмы и тридцать праздности. Место мирового покоя.

На этом и закончилось моё первое знакомство с Проповедью Феодосия Ветлужского. Дневные события густым потоком вломались в мои тихие бдения под звёздным небом. Дело в том, что я, предполагая постоянство бытия, не торопился с прочтением, но иногда прочитывал за всю ночь одну-две фразы. И этого было вполне достаточно. Но вот в одну из тех благословенных ночей мой брат Феодор не пришёл. Не пришёл он и на следующую ночь, и на позаследующую. И не было его ни много ни мало, а ещё 366 ночей. Встретились мы с ним на 367-ю ночь и совершенно случайно. Феодор не узнал меня, ибо его сомнамбулический дар был утрачен. Но душа его, должно быть, помнила меня на каком-то своём глубинном уровне и инстинктивно стремилась ко мне. По путаным и дёрганым рассказам Феодора я постепенно понял, что же случилось с ним. Будучи в дневной жизни человеком вполне поэтическим и вдохновенным, Феодор иногда пускался на дурные подвиги и беспричинные авантюры. Вот и в тот злополучный (и отчасти счастливый) день он позволил себе выпить не то что бы лишнее, но вдвойне и даже втройне лишнее. Не помня досконально, как и зачем, Феодор оказался в поезде, идущем в неизвестном ему направлении. Там Феодор познакомился и, более того, полюбил прекрасную женщину, способную, подобно ему, на полёт и на безрассудство. Они вышли на каком-то полустанке и соединились в великом влечении на стогу сена посреди заснеженных полей. Счастливые и утомлённые, они уснули в самом сердце зимней январской ночи. Но когда Феодор проснулся, то был он в вагоне поезда, прибывающего в Москву. По-видимому, лунный демон сыграл над ним злую шутку и увёл его, бессознательно, от случайно пришедшего счастья. С тех пор Феодора, как кажется мне, и оставил сомнамбулический дар. И беспрестанно с тех пор разыскивал он свою зимнюю любовь и своё заснеженное счастье. И поиски его увенчались наконец, если и не успехом, то всё-таки результатом. Возлюбленная Феодора скончалась, но осталось после неё маленькое трёхмесячное дитя — слабенькая худенькая мальшика, которая была, ко всему прочему, опасно больна, и спасти её от неминуемой смерти могла лишь дорогостоящая операция за границей. Вот тогда-то и взялся я доставить деньги на лечение мальшики. Вот тогда-то и вскрыл я свой бухгалтерский сейф. И, по счастью, необходимую часть денег мне удалось-таки передать Феодору. И дитя любви его была впоследствии спасена. Меня же, как уже вам должно быть известно, препроводили в тюрьму, где и произошло блаженное соединение моих противоположных ипостасей.

Пять лет моих камерных странствий подарили мне много открытий, и всё большие и большие крепло во мне желание последовать по пути, указанному мне старцем Феодосием Ветлужским. Выйдя на волю, я практически отказался от земных сует и мирно проводил свои дни в духовной праздности и веселии сердца.

Каждое лето отправлялся я на поиски хижинки старца Феодосия, исследуя волжские и окские притоки, ибо мечталось мне прикоснуться руками к следам жизни Феодосия и, возможно, найти продолжение его вдохновенных записок.

И вот через тридцать лет безустанных блужданий я наконец-то нашёл её. И здесь, в этом месте мирового покоя, окончилась для меня суета сует и всяческая суета. И здесь окончательно понял я, что **самое лучшее — это есть, пить и находить радость в работе, которой человек занят под солнцем. Здесь избавил меня Господь от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия.**

17. **Vive vaeleque**

Устрицы. Цикорий. Основа поэзии. Ипостаси человека. Королевство кривых зеркал. По ту сторону добра и зла. Ход и Покой. Демон и Бог. Жизнь и Смерть. Жизнь!

Эсинский поднялся с бревна и отложил рукопись.

— Однако не мешало бы и нам предаться этим невинным радостям, как вы считаете, мистер Я?

Он спустился к реке и набрал полные пригорошни речных ракушек-беззубок. Вывалив своё богатство в какую-то лоханку, Эсинский развёл огонь в полуразрушенной печке и поставил греться чугунок с водой, потом выдернул из земли несколько корешков росшего неподалёку цикория, тщательно прополоскал его, размельчил и положил сушиться на печку.

— Как вы относитесь, ястреб, к устрицам в земляничном соусе со шавелем? С непониманием, удивлением и восторгом? Э-э, батенька, **вот так же и живописец Коровин восхищался** в своё время художником Врубелем, **но есть сии акриды отказался**. Конечно, нежнейшему Константину Алексеевичу не хватало хищной утончённости и аристократизма, но вы-то, вы, мой возвышенный друг! Стыдно, батенька, и даже некрасиво. Заметьте, ястреб, что вкушать устрицы, устроясь на какой-нибудь итальянской террасе, запивая их белым вином с собственных виноградников, курить вирджинские сигары и хлопать по заднице хорошеньких женщин — без сомнения, донельзя изящно! Но разве сравнится это тусклое времяпровождение с завтраком на развалинах лесной хижины, состоящим из русского муля, лугового кофе и табака-самосада? Поэзия жизни держится на контрастах, мой друг.

Простая пища рыбарей и дровосеков мне более по вкусу, чем всевозможнейшие бланманже и тарталетки!

— Ну вот, откушав, полежим на травке, покурим, побеседуем с друзьями и почитаем местные газеты. Вот послушайте, ястреб, поверьте мне, это достойно самого пристального внимания:

В хижине я вскоре, в действительности, обнаружил черновой вариант продолжения записок Феодосия. Кош, соединив по своему разумению, и занову на эти страницы:

**Стало быть, ты — есть единство во трёх ипостасях.
К каждой из них относиться ты должен с равным почтеньем.
Но не стремись подогнать себя к мерному шагу различных народов.
И не пытайся отдать свой Я в угоду иль в жертву на всеобщее благо.
Этим — погубишь его.**

Ой-ля-ля! То есть, человек, подобно Богу, един в трёх лицах: Душа, Тело и Социальная аура. Но он не должен возвеличивать ни одну из граней своего бытия, под страхом разрушения единой гармонии. Изрядно сказано!

*Далее вот что:
Пусть знает мы не можем всех чаяний горнего Мира,
Пусть и живёт он от нас обособленной жизнью,
Но всё же
Не избежат нам совсем тех занебесных влияний;
Тех отражений, что мы
В зеркале видим зрачков.*

Красиво! Отражение «занебесной» жизни в зеркале наших зрачков. Красиво! Вот только зеркала-то наши кривые. Так и живём мы — в королевстве кривых зеркал.

*В правом зрачке отражаются области блага,
В левом сверкают далёкие волости зла.
Это, конечно, условности.
Нет ведь ни «права» ни «лева»
Нет, ни «добра» и тем более нету и «зла».
К этим словам прибежал человек, и они устоялись,
К ним прибегаю и я, но за ними я вижу не то.*

Зеркала меняют направление. И тогда стоит ли придавать ему хоть какое-то значение? Не лучше ли быть по ту сторону «левых» и «правых», по ту сторону «добра» и «зла»? Интересно, читал ли старик Феодосий Фридриха Ницше?

*Могут ли разве желать обитатели высшего мира
Некого блага для нас и тем более некого зла?
Разве они в состоянии разнствовать ласку с ударом?
Да и когда бы и так,
Что им за дело до той
Боли, что будет во мне?..
Если нарочно ли, нет ли, чем-то они и помогут,
То ожидающей всего с целью какой-то иной.*

Конечно, если миры выстраиваются в некую, пускай достаточно условную, иерархию, то другие более «высокие» или более «низкие» духовные сущности вряд ли смогут понять хоть какие-то чаяния и тревоги моей загулявшей души. Точно так же, как и я не в состоянии постигнуть желаний микробов, живущих в моём организме и почитающих, что этот организм создан для их обитания. (Я, естественно, могу вмешаться в их «мирное» существование и потравить их, допустим, при помощи таблеток, но это не значит, что я желаю им зла, и тем более не значит, что я хочу пробудить зло в их душе, если таковая имеется.) Точно так же и наша планета может быть маленьким садиком на подоконнике Господа Бога, и Он, в один прекрасный момент обнаружив, что какие-то людишки-блошишки засерают его милый зелёный садик, потравит их каким-нибудь нейтронным излучением... Конечно, и мне не постичь тот уровень, с высоты которого меня, возможно, наблюдают некоторые потусторонние Зрители. Но как бы то ни было, моё отношение к добру, злу, да и вообще к любым абстрактным категориям не может совпадать с отношением Бога к этим же категориям. Возможно, опыт вочеловечивания и имел целью своей уменьшить разность наших пониманий. Но каким бы очеловеченным ни был бы Бог, ему никуда не деться от того сверхзнания, которым он обладает, и именно оно не позволит ему испытать человеческую любовь, и тем более не по силам ему испытать в своём сердце ненависть (недаром булгаковский Иешуа считал всех людей добрыми). Точно так же: человек, живущий в волчьей стае, не сможет полюбить волчицу любовью волка, но лишь испорченной, изуродованной до неузнаваемости любовью человека...

Если же миры не обладают иерархичностью, но отличаются друг от друга всего лишь вложенностью. Если каждый мир сделан по образу и подобию. Если миры отличаются друг от друга лишь возможностью наблюдения, то тогда Боги точно так же понимают Добро и Зло, Боль и Счастье, Любовь и Ненависть.

*Цели и помыслы Их нам угадать невозможно.
Лишь отраженья вмешательств можем подчас уловить...
Но отражения те видеть нам надобно сверху,
А не из наших идей о состоянии души.
Токмо уйдя, уносясь в запредельные выси,
Мысли воздушной челнок вышля к воздушным ладьям,
Можно объять, хоть отчасти, тот умысел,
Те устремленья,
Что, может статься, хоть как-то присуици Богам.*

Для Феодосия, видимо, иерархия миров не вызывает сомнения. И если мы хотим понять Бога, то должны встать на его точку зрения. А если уж не можем (разумеется, не можем), то должны хотя бы попытаться это сделать. Впрочем, довольно трудно встать и на точку зрения создателя, в которого ты вложен наподобие матрёшки. Чего ему (создателю) от тебя надобно? Об этом можно лишь гадать.

Сверху же

*Вся наша жизнь различима в довольно немногом:
Ход и Покой. И, пожалуй что, — больше ни в чём.
Если же так. То понятны тогда устремленья
Сущностей вышних, известных как Демон и Бог.
Бог — это то, что стремится к Покою, к Порядку,
К строго-размеренной, тихой и праведной жизни.
Демон — сторонник движенья.
Хаос и буря — вот где стихия Его.
Богу, как видно, мило омертвенье иль сонные райские будни.
Демону — любя кипящая бурная жизнь.*

Во, даёт, старец! Собственно говоря, для Бога, действительно, важна праведность и порядок, а для Демона — хаос и буря. Любая религия с этим несомненно согласится. Но все религии противопоставляют Бога и Дьявола с позиций Добра и Зла, а Феодосий с точки зрения Покоя и Движения. И тогда высшая планка Порядка — есть Смерть, а высшая планка Хаоса — это Жизнь!

*Жизнь, с её поиском,
Завертью битв и метаний,
Вьюжной летучестью бурных, безумных страстей,
Жизнь с перепадами взлётов, стихов и падений
И со случайным, врасплох
Наступающим ходом времён.*

Н-да-а! Хорошо формулирует! Стоит ему заговорить о жизни, как его поэтическая проповедь начинает сверкать и пениться. Интересно, что стихи он поставил в один ряд со взлётами и падениями... Так, впрочем, наверное, и нужно... Следуя за ним, можно сказать, что стихи возникают на стыке пропасти и вершины.

*Так, постигая земную и горную мудрость,
Помня о всех непонятно-возможных чертах
Нашего светлого Мира,
Нужно в свободе пройти
Свой маршрут от рожденья до смерти.
Но не мешая идти
Также братьям своим...*

18. Время весов

Глоток необитаемого ветра. Разоблаченье облачного блюза. Восстановление домашнего тепла. Рыболовецкие заботы. Ястреб встает на крыло. Звёздные дожди. Строительство плота. Начало листопада. Первые заморозки. Прощальный взмах осеннего крыла.

Закончился период медлительного Рака. Золотистой стрелой промчался Лев. Как-то незаметно прошла и Дева. Наступало Время Весов.